SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Николай Николаевич Александров
  -
  - Глава I. Происхождение и детство
  - Глава II. В школе
  - Глава III. В университете. Первые произведения
  - Глава IV. Путешествие. «Чайльд-Гарольд»
  - Глава V. Восточные поэмы. Женитьба
  - Глава VI. В добровольном изгнании
  - Глава VII. В греции. Смерть
  - Глава VIII. Байрон как человек
  - Глава IX. Место Байрона в литературе
  - Источники
- notes
  - 1

Николай Николаевич Александров Джордж Байрон. Его жизнь и литературная деятельность

Биографический очерк Н. Н. Александрова

С портретом Байрона, гравированным в Лейпциге Геданом

Глава I. Происхождение и детство

Знаменитый английский поэт, лорд Байрон, по свидетельству почти всех биографов его, гораздо более гордился своим происхождением от тех норманнских Байронов, которые сопровождали Вильгельма Завоевателя в Англию, чем своими великими произведениями – «Чайльд-Гарольдом» и «Манфредом».

О предках поэта известно, что они отличались не раз в Столетней войне с Францией и что после Реформации Генрих VIII даровал им в потомственное владение аббатство Ньюстед вместе с обширными, принадлежавшими этому монастырю землями. В 1643 году один из представителей фамилии Байронов, а именно сэр Джон Байрон, получил от короля Карла I титул барона и был возведен в пэры Англии. Во время гражданской войны барон Байрон оставался верным королю и сражался на его стороне. Ближайший по титулу предок поэта, двоюродный дядя его, лорд Вильям Байрон пользовался в свое время печальной известностью. Это был человек жестокого и необузданного характера. В припадке вспыльчивости он раз вызвал на дуэль своего родственника и соседа Чэворта и убил его. Хотя он был оправдан судом палаты лордов, но тень убитого преследовала его до самой смерти, и он провел остаток жизни своей самым печальным образом. Он никогда уже не выезжал после этого из Ньюстедского замка, все соседние дворяне старались не встречаться с ним, а его собственные фермеры боялись его и называли «сумасшедшим лордом Байроном». Про него ходили самые отчаянные слухи: будто он убил своего кучера и однажды чуть не утопил жену. Рассердившись на своего единственного сына за то, что тот женился без его согласия, он продал противозаконно самое крупное свое имение и почти разорил другое (Ньюстедское). Брат лорда Вильяма и дед поэта, адмирал Джек Байрон пользовался в свое время славой замечательно отважного и в то же время несчастливого моряка. Почти ни одна экспедиция, в которой он принимал участие, не обходилась без того, чтобы корабль, которым он командовал, не потерпел крушения от бури. Матросы боялись служить под его командой и дали ему прозвище «Джек – скверная погода». Он принял участие в сороковых годах XVIII века в экспедиции против испанских колоний на Тихом океане. Весь английский флот погиб тогда во время сильной бури, а его корабль потерпел крушение у западных берегов Америки. Он спасся с несколькими матросами на необитаемом острове, откуда они потом пытались вернуться в Англию на небольшой шхуне через Магелланов пролив. На пути

их снова настигла буря; все погибли, кроме Байрона, который спасся на лодке и благополучно добрался до восточных берегов Бразилии, где был взят в плен португальцами. После двухлетнего плена ему наконец удалось вернуться в Англию, где двадцать лет спустя он издал описание своих необыкновенных приключений, изумившее весь мир.

Старший сын адмирала и отец поэта, капитан Джек Байрон получил прекрасное образование сначала в Вестминстерской школе в Лондоне, а затем в одной из первоклассных военных академий Франции. Но это не мешало ему быть в высшей степени безнравственным, бесхарактерным и тщеславным человеком. Он любил жить на широкую ногу, всегда был «кругом в долгах» и вследствие замечательной красоты пользовался громадным успехом у женщин. Чудные глаза его производили неотразимо чарующее впечатление на представительниц слабого пола. Он начал свою карьеру с того, что увез на континент жену лорда Карматена, на которой, по получении ею развода от мужа, впоследствии и женился. В короткое время он растратил все состояние жены, а ее вогнал в гроб. От этой жены у него осталась единственная дочь Августа, ставшая впоследствии всемирно известной как горячо любимая сестра великого поэта. Для того чтобы поправить свои крайне расстроенные финансовые дела, капитан Джек Байрон, прозванный «сумасшедшим Джеком», женился в 1785 году во второй раз – на мисс Катерине Гордон, происходившей по женской линии от шотландского короля Якова I. В своих надеждах на огромное богатство жены Байрон был, однако, жестоко обманут: состояние ее оказалось сравнительно незначительным. В 1786 году он отправился с супругой во Францию, где в короткое время успел наделать массу долгов. Уже в 1787 году госпожа Байрон была вынуждена продать единственное имение свое для удовлетворения исков многочисленных кредиторов мужа. Растратив во Франции почти все состояние второй жены, Байрон вернулся с ней в начале 1788 года в Лондон. Здесь, несколько дней спустя после приезда, а именно 22 января, Катерина Байрон родила своего первого и единственного сына – Джорджа Гордона Байрона, будущего великого поэта.

Мать Байрона.

Пробыв несколько недель в Лондоне, Байроны отправились затем в шотландский город Эбердин, где поселились в меблированных комнатах на Королевской улице. Доход госпожи Байрон составлял в это время не более 1500 рублей в год. Приходилось жить очень скромно; но на это капитан Байрон, привыкший к роскоши и не умевший отказывать себе ни в чем, не был, конечно, способен, а потому продолжал делать долги. Отношения между супругами, и до того бывшие не особенно хорошими, становились со времени переезда их в Шотландию с каждым днем все хуже и хуже. Байрон никогда не любил своей жены, да и мудрено было любить ее. Она была очень некрасива и по наружности своей скорее походила на дочь какого-нибудь мелкого лавочника, чем на потомка короля. Но характер ее отличался еще меньшей привлекательностью, чем ее наружность. Крайне вспыльчивая, раздражительная, капризная и тщеславная, она в припадках бешеного гнева рвала на куски свои платья и шляпки, ругалась последними словами и жестоко била своего ребенка. Она была малообразованна и чрезвычайно суеверна. Отец ее покончил жизнь самоубийством в ванне; а другой близкий родственник пытался отравиться. Такие две натуры, как у нее с мужем, не могли долго ужиться вместе. Капитан Байрон через некоторое время переехал на отдельную квартиру,

находившуюся на той же Королевской улице, но только на другом конце ее. Он продолжал, однако, в первое время посещать каждый день свою жену и обыкновенно пил чай вместе с ней. Но визиты его мало-помалу становились реже и, наконец, совсем прекратились. Для того, чтобы видеть своего маленького сына, которого он очень любил, Байрон ежедневно приходил в городской сад в то время, когда там совершал свою прогулку маленький Джорди (так звали родители маленького Джорджа Байрона) в сопровождении своей любимой няни мисс Мэй Грей. При этих встречах отец часто выражал желание взять ребенка к себе на несколько дней. Госпожа Байрон долго не соглашалась на это, но, убежденная доводами няни, что капитан после первой же ночи сам откажется от своего маленького гостя, она, наконец, решилась отпустить к нему ребенка. Предсказание мисс Грей вполне оправдалось: маленький Джордж доставил отцу столько беспокойства в течение одной первой ночи, что тот на другое же утро отослал его назад к матери и заявил, что брать его к себе больше не намерен. Капитан Байрон пробыл в Эбердине только несколько месяцев. Выклянчив у жены небольшую сумму денег, он отправился опять во Францию, где и умер в 1791 году. Когда весть о его смерти дошла до г-жи Байрон, она в продолжение нескольких часов рыдала так громко, что слышно было на улице, и потом чуть с ума не сошла от печали. А между тем смерть мужа была, в сущности, счастьем для нее: проживи он еще несколько лет, он бы окончательно разорил жену. Смерть отца была бы счастьем и для маленького Байрона, если бы он остался на попечении лучшей матери. К несчастью, мать великого поэта была еще хуже отца и не только не могла искоренить или смягчить те дурные черты в его характере, которые он унаследовал от своих предков, но способствовала их дальнейшему развитию. Еще ребенком Байрон обнаруживал в высшей степени необузданный и своенравный характер. Когда мать ему раз сделала выговор за то, что он запачкал свою новую курточку, мальчик пришел в «тихую ярость» (как он впоследствии сам это описывал в своем дневнике) и, схватив обеими руками курточку, распорол ее сверху донизу, после чего, не говоря ни слова, стал злобно и вызывающе смотреть в лицо кипевшей негодованием матери. В припадке подобной же «тихой ярости» он однажды во время обеда схватил со стола нож и хотел перерезать себе горло. Из-за какого-то несчастного случая одна из ног у него была изуродована еще во время появления его на свет, и он остался хромым на всю жизнь. Этот телесный недостаток и был для него в продолжение всей его жизни источником многих физических страданий и душевных мук. До какой степени Байрон

даже в раннем детстве был чувствителен к этому недостатку, показывает следующий характерный случай, рассказанный одним из его биографов. Одна из знакомых его няни как-то на прогулке заметила ей в его присутствии: «Что за красивый мальчик Байрон! Как жаль, что у него такая нога!» Услышав этот намек на свою хромоту, ребенок страшно вспылил и, ударив несколько раз хлыстиком ненамеренно обидевшую его женщину, нетерпеливо закричал: «Не говори об этом! Не говори об этом!» Зная эту слабость своего сына, мать Байрона вместо того, чтобы щадить его, напротив, пользовалась любым обстоятельством, чтобы оскорблять и терзать мальчика. Так, однажды в припадке гнева она обругала его «хромой скотиной». Ребенок, услышав это оскорбление от родной матери, побледнел как полотно, но сдержал себя и со слезами на глазах просто ответил: «Я не виноват, я родился таким, мама!» Этих оскорблений Байрон впоследствии никогда не мог простить своей матери и всю свою жизнь не мог забыть их.

Единственным человеком, имевшим на него хорошее влияние в детстве, была его няня – мисс Мэй Грей. Эта прекрасная женщина одна знала, как обращаться с ним; поэтому-то он и любил ее гораздо больше, чем свою мать, и во всем ее слушался. С ней он держал себя постоянно кротким, послушным ребенком, в то время как с матерью был всегда упрям и неукротим. Байрон и впоследствии легко подчинялся влиянию тех, которые любили его и знали, как обращаться с ним. Няня обыкновенно укладывала спать маленького Джорди и усыпляла его песнями или сказками, приводившими его в восторг.

Когда он был еще маленьким, она учила его повторять за ней наизусть псалмы и познакомила с содержанием книг Св. Писания. В 1821 году, т. е. тогда, когда ему было уже 33 года, Байрон писал из Италии своему издателю Муррею следующее: «Не забудьте прислать мне Библию; я большой почитатель этой книги и прочел ее несколько раз от начала до конца, когда мне не было еще 8 лет». О замечательной живости маленького Байрона можно судить по следующему случаю, рассказанному его няней. Она взяла его однажды с собой в театр. В этот вечер там играли «Укрощение строптивой» Шекспира. Ребенок с большим интересом молча следил за представлением. Но во время сцены между Катариной и Петруччо, когда между ними происходит диалог:

Катарина: Я знаю, что это луна.
Петруччо: Нет, врешь, это солнце,—

маленький Джорди вдруг поднялся со своего места и смело

крикнул: «Но я, сударь, говорю, что это луна!»

Байрону не было еще и пяти лет, когда мать отдала его в школу в Эбердине, вероятно, для того, чтоб он меньше надоедал ей дома. Об этой первой школе и вообще о первых учителях мы читаем в его дневнике следующее: «Когда мне было пять лет, меня отдали в училище, которое содержал г-н Боверс. Это была школа для детей обоего пола. Единственное, чему я там научился, – повторять на память первый урок, который представлял собой примеры на односложные слова. Я запомнил эти слова, слыша частое повторение их другими детьми, но не умел прочитать их по книге и вообще не знал ни одной буквы. Когда меня после целого года учения в этой школе подвергли дома экзамену, я повторил эти слова с замечательной быстротой; но когда, перевернув страницу книги, я продолжал повторять те же самые слова, ограниченность моих познаний была немедленно обнаружена, уши мои подверглись трепке (чего они вовсе не заслуживали, так как именно им я обязан был тем, что хоть чему-нибудь научился), и мне нашли другого учителя. Это был чрезвычайно благочестивый и умный священник по имени Росс. С ним я сделал поразительные успехи. Я помню до сих пор его мягкие манеры и добродушное усердие. Как только я научился читать, я почувствовал страшную любовь к истории. Не знаю почему, но меня особенно поразил рассказ о битве при озере Региллус, из римской истории, которая первая попалась мне в руки. После Росса я учился у необыкновенно серьезного и угрюмого, но тем не менее доброго молодого человека по имени Патерсон. Он был сын нашего сапожника, но это не мешало ему быть хорошо образованным, как это нередко случается у шотландцев. С ним я начал изучать латинский язык по грамматике Руддимена и продолжал до тех пор, пока не поступил в гимназию, где дошел до 4-го класса, после чего мне пришлось уехать в Англию по случаю смерти моего дяди…»

Товарищи Байрона по гимназии в своих воспоминаниях о нем рассказывают, что он был веселым, добрым и очень умным мальчиком, горячим и злопамятным, но все-таки хорошим товарищем, замечательно смелым и «всегда более склонным побить, чем быть побитым». На пути из школы домой он раз был обижен каким-то мальчиком. Не будучи в состоянии наказать своего обидчика тотчас, маленький Байрон обещал «отплатить» ему при ближайшей встрече. Несколько дней спустя он вернулся из школы домой в страшном волнении. На вопрос няни, что с ним, он ответил, что побил одного мальчика согласно данному ему обещанию и что он как один из Байронов никогда не скомпрометирует фамильного де виза: «crede Byron» («верь

Байрону»).

Учился он в школе очень неохотно; был всегда одним из последних учеников в своем классе и никогда не обнаруживал никакого желания стать первым или одним из первых. В детских играх Байрон также не отличался вследствие своей хромоты. В свободное время он любил заниматься чтением или предпринимать в одиночестве прогулки по берегу моря, причем иногда просиживал по несколько часов на каком-нибудь уединенном утесе, любуясь игрой морских волн и прислушиваясь к плеску их о дикую скалу. С раннего детства он обнаруживал страстную любовь к морю и к горам, которые впоследствии так прекрасно воспел в своих стихах. Прогулки свои маленький Байрон обыкновенно совершал верхом на пони, так как много ходить ему было тяжело. Когда он гулял вместе с кем-нибудь из товарищей, то обыкновенно делился с ним своим пони, и каждый из них по очереди то шел пешком, то сидел на лошади. Во время одной из таких прогулок им пришлось раз перебираться через мост, относительно которого существовало старинное местное поверье, что он не в состоянии выдержать тяжести лошади и всадника, если они единственные дети у своих родителей. Так как спутник Байрона случайно оказался, как и он сам, единственным сыном и как раз в это время его очередь была сидеть на пони, то маленький Джордж посоветовал ему лучше перейти мост пешком и уступить пони ему, «потому что, если ты утонешь, – серьезно заметил он, – тебя будут оплакивать двое – отец и мать, а если я утону, то меня будет оплакивать только одна мать». Тот послушался этого совета, и Байрон верхом на пони смело въехал на мост и, разумеется, благополучно перебрался на другую сторону. Дети потом объяснили этот благополучный переезд через мост тем, что «стало быть, пони имел еще братьев».

Летом 1796 года Байрон заболел скарлатиной. Когда ему стало лучше, мать поехала с ним для поправки его здоровья в горы, где они прожили несколько недель на ферме, расположенной в одной из самых живописных местностей Шотландии. Дикое величие горных видов произвело сильное впечатление на маленького Байрона. Он впоследствии всегда вспоминал эти места с восторгом, и, когда много лет спустя поэт любовался подобными же видами в Албании, когда он бродил по горам Швейцарии или смотрел на вершины Апеннин в Италии, впечатления раннего детства с необыкновенной живостью воскресали в его памяти, как об этом свидетельствуют великолепные описания горной Шотландии в «Чайльд-Гарольде» и в «Острове», который он написал всего за два года до своей смерти. Ферма, где Байрон прожил тогда с матерью несколько

счастливых недель, с тех пор стала местом, куда со всех концов мира стекаются на поклонение почитатели его гения. Там до сих пор еще с гордостью показывают кровать, на которой спал будущий великий поэт.

Когда Байрон в первый раз посетил горную Шотландию, ему еще не было полных восьми лет, и, однако, к этому именно времени относится его первая любовь. О первом романе в своей жизни он в 1813 году, т. е. 15 лет спустя, писал в дневнике следующее: «Я в последнее время много думал о Мэри Дафф (так звали предмет его первой любви). Как странно, что я был так сильно влюблен в эту девочку, когда еще не мог быть способным на страсть и даже не понимал значения этого слова. Мать моя любила иногда подшучивать над моим ребяческим романом. Много времени спустя, когда мне уже было 16 лет, она мне раз сказала: „Слушай, Байрон, я получила на днях письмо из Эдинбурга, и мне, между прочим, сообщают, что твоя старая любовь, Мэри Дафф, вышла замуж за г-на К…“. Я решительно не в состоянии ни объяснить, ни передать того, что я почувствовал в тот момент, когда услышал эту новость. Со мной чуть не сделался истерический припадок, и я до такой степени испугал своим видом мать, что она впоследствии всегда избегала говорить об этом предмете, по крайней мере, в моем присутствии… Мы оба были тогда совершеннейшими детьми. Я с того времени уже 50 раз был влюблен, и, однако, до сих пор еще помню все, что мы тогда говорили друг другу, все наши ласки, мое волнение, бессонницу и как я мучил нашу горничную, чтобы она писала ей письма от моего имени, что та в конце концов и делала, лишь бы успокоить меня. Я помню также наши общие прогулки и счастье, которое я испытывал, когда сидел рядом с Мэри и мы серьезнейшим образом разыгрывали влюбленных в то время, как младшая сестричка ее Лена играла с куклой… Я сомневаюсь, чтобы у нее еще сохранилось малейшее воспоминание об этом времени или обо мне, или чтобы она еще помнила, как она, бывало, сожалела, что сестричка ее Лена не имеет возлюбленного. Как хорошо сохранился в моей памяти ее прелестный образ – ее темно-каштановые волосы, ее глаза газели, даже самый костюм ее!..»

Госпожа Байрон с самого рождения сына была убеждена в том, что его ожидает великая будущность. Она еще более укрепилась в этом убеждении, после того как одна ворожея заявила ей, что сын ее со временем сделается лордом и будет два раза женат, причем во второй раз – на иностранке. Первая половина предсказания ворожеи очень скоро сбылась. В 1794 году умер единственный внук (сын умер еще раньше) старого лорда

Байрона, и маленький Джордж благодаря этому стал единственным наследником своего двоюродного дяди. Важное значение этого события чувствовалось не только госпожой Байрон, но и ее маленьким сыном. Когда зимою 1797 года мать Байрона однажды случайно прочла вслух выдержку из какой-то речи, произнесенной в палате общин, знакомый ее, бывший при этом, заметил мальчику: «Мы когда-нибудь будем иметь удовольствие читать и твои речи в палате общин». «Надеюсь, что нет, – серьезно ответил тот. – Если вам придется когда-нибудь читать мои речи, то это будут те, которые я произнесу в палате лордов». Несколько месяцев спустя после этого, а именно 19 мая 1798 года, умер в своем Ньюстедском замке двоюродный дядя Байрона, и десятилетний мальчик вдруг стал лордом. На другой день после получения известия об этом маленький Байрон серьезнейшим образом спрашивал мать: «Не заметила ли она какой-нибудь перемены в нем с тех пор, как он сделался лордом, так как он сам не замечал никакой». Какое сильное впечатление произвело на мальчика это крупное событие в его жизни, видно из следующего примера. Когда несколько дней спустя, после того как он стал лордом, его имя во время переклички в гимназии было прочитано в первый раз вместе с титулом «dominus» (лорд), он от страшного волнения не в силах был произнести обычного ответа «ad sum» (я здесь); в продолжение нескольких минут он стоял молча среди всеобщего изумления своих товарищей, и наконец, разразился громким рыданием.

Осенью 1798 года госпожа Байрон переехала вместе с сыном в перешедший к нему по наследству Ньюстедский замок. С ними отправилась туда и няня Мэй Грей. Перед отъездом из Эбердина мать молодого лорда распродала свое имущество, причем выручила за все не более 750 рублей. Резиденцию своих предков Байрон нашел в самом жалком состоянии: парк был почти весь вырублен, а замок так запущен, что в нем нельзя было найти ни одной порядочной жилой комнаты. Для того чтобы привести все в порядок, требовались громадные деньги, а между тем весь доход с имения составлял в то время не более 15 тысяч рублей в год. Пришлось до поры до времени оставить замок и поселиться пока в другом месте. Госпожа Байрон избрала местом жительства соседний с Ньюстедом город Ноттингем, устроившись там, она энергично принялась за лечение больной ноги своего сына. Для этого был приглашен сначала некий Лавендер, выдававший себя за очень опытного хирурга, но оказавшийся просто шарлатаном. Средства, которые «хирург» употреблял для выпрямления ноги своего пациента, причиняли ему невыносимые страдания, а между тем уродливость не только не уменьшалась, но с каждым

днем все более увеличивалась. Для того чтобы Байрон во время лечения не забывал, чему раньше научился, к нему ежедневно ходил учитель местной школы и читал с ним Вергилия и Цицерона. Во время уроков мальчик часто испытывал ужасную боль в ноге, которая, по совету шарлатана-врача, была «завинчена» в деревянную «машину». Учитель, искренно любивший своего воспитанника, замечал это и однажды сказал ему: «Мне крайне неприятно, милорд, видеть Вас до такой степени страдающим». – «Ничего не значит, г-н Роджерс, – ответил на это мальчик, – вы больше не увидите никаких признаков страдания на моем лице». И учитель, действительно, уже больше не замечал ничего. Отношения между Байроном и его наставником были самые теплые, и он впоследствии всегда вспоминал с любовью о Роджерсе, как и вообще о всех тех, которые были когда-либо добры к нему. Зато врача Лавендера он страшно ненавидел и мстил ему за его жестокое лечение злыми шутками над его напыщенным невежеством. Так, однажды, написавши на листе бумаги несколько десятков искусственно составленных слов, не имевших никакого смысла, будущий поэт серьезнейшим образом спросил Лавендера, на каком это языке написано. Тот, не желая обнаружить своего невежества, самоуверенно ответил: «На итальянском». Байрон пришел в необыкновенный восторг от этого ответа и разразился громким, торжествующим хохотом. Ему и впоследствии всегда доставляло большое удовольствие, когда удавалось разоблачить какого-нибудь шарлатана.

Ко времени пребывания Байрона в Ноттингеме относятся его первые стихи. Сочинены они были при следующих курьезных обстоятельствах. К его матери часто захаживала одна старая дама, которая своей наружностью и разговорами внушила маленькому лорду страшную ненависть к себе. Между прочим, эта дама часто заявляла, что, по ее глубокому убеждению, душа человека после его смерти предварительно улетает на луну. После одного визита этой особы маленький Байрон в страшном гневе влетел к своей няне и выпалил следующие, довольно плохие, впрочем, стихи:

В Свон-Грине леди старая живет,—
Гнусней ее мир никого не знает! —
И веру твердую она питает,
Что прямо на луну по смерти попадет…

(Перевод В. Огаркова)

Байрону самому так понравился этот первый экспромт, что он в восторге повторил его перед няней несколько раз подряд.

В 1799 году госпоже Байрон назначена была королевская пенсия в 3 тысячи рублей, что было чрезвычайно кстати при тогдашних стесненных ее обстоятельствах. Она вскоре после этого переехала в Лондон и там, по совету графа Карлайля, опекуна ее сына, пригласила для лечения последнего знаменитого в то время хирурга Бейли. Для того чтобы мальчик мог продолжать учение при условиях, благоприятных для процесса лечения, мать поместила его в загородной школе доктора Гликки. Байрону пришлось теперь начать изучение латинского языка опять с самого начала, так как метод преподавания этого языка в английских школах совершенно не походил на тот, который был в употреблении в Шотландии. «Он бодро принялся за работу, – рассказывает о нем д-р Гликки, – и, делая быстрые успехи, был весел, добродушен и любим товарищами. В знакомстве с историей и беллетристикой новый ученик далеко превосходил других мальчиков своего возраста… Он обнаруживал замечательное знакомство с исторической частью книг Св. Писания и чрезвычайно любил беседовать со мной о религиозных вопросах, в особенности после вечерней молитвы по воскресеньям…»

Так как кровать Байрона стояла в библиотеке д-ра Гликки, то он проводил по несколько часов каждую ночь за чтением. За время своего пребывания в этой школе будущий поэт, по собственному признанию, прочел массу самых разнообразных книг. Зато успехи его в учебе, к великому огорчению почтенного учителя, очень скоро значительно замедлились. В этом была виновата, главным образом, его мать. Она чуть ли не каждый день приезжала из Лондона в школу и под самыми ничтожными предлогами увозила мальчика домой, причем иногда по целой неделе держала его дома, несмотря на протесты опекуна и учителя. Когда последний вежливо начинал доказывать ей, до какой степени успехам ее сына мешали его частые и продолжительные отлучки, она обыкновенно разражалась криками и бранью, которые слышны были по всей школе. Доктор Гликки рассказывает, что он однажды имел неприятность подслушать, как один из товарищей молодого лорда заметил ему: «Твоя мать дура, Байрон!», на что тот печально ответил: «Я это знаю». Такой ответ со стороны одиннадцатилетнего мальчика показывает, до какой степени отношения между матерью и сыном были ненормальны. Сын нисколько не уважал мать и чувствовал очень мало любви к ней. Мать, со своей стороны, то осыпала сына ласками и поцелуями, то награждала его самой грубой бранью и

побоями. В припадках гнева она, бывало, с яростью гонится за мальчиком по комнате, в то время как тот, несмотря на свою хромоту, ловко увертывается от нее и при этом громко хохочет над ее толщиной и неповоротливостью…

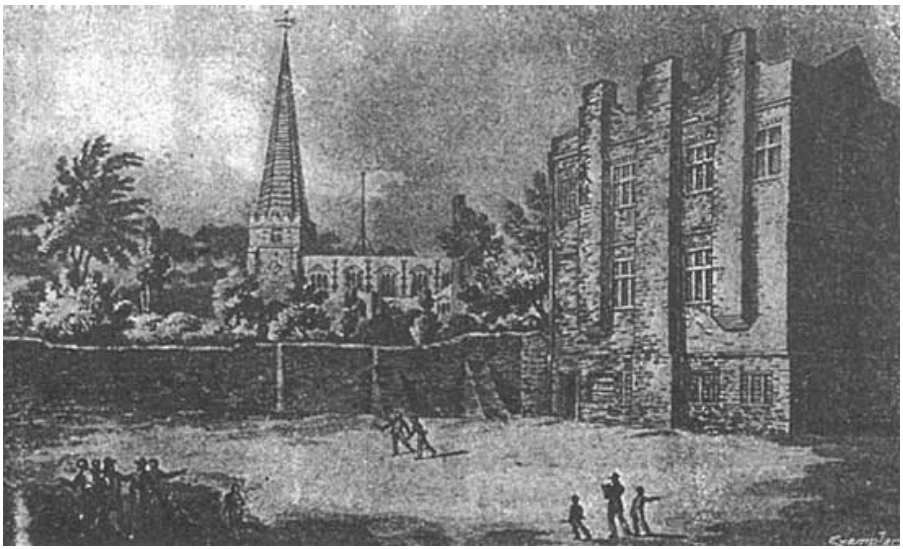
Во время школьных каникул 1800 года Байрон влюбился во второй раз. Предметом второй страсти была его кузина Маргарита Паркер, которой посвящено первое стихотворение в его «Часах досуга». «Свою первую экскурсию в область поэзии, – рассказывает он в своем дневнике, – я совершил еще в 1800 году. Это было излияние моей страсти к кузине Маргарите Паркер, прелестнейшему из смертных созданий. Я давно уже забыл эти стихи, но мне было бы трудно забыть ее – ее темные глаза, длинные ресницы и античный склад ее лица и фигуры. Мне тогда было около 12 лет, ей – несколько больше. Она умерла через год или два после этого вследствие одного несчастного падения, повредившего ее позвоночный столб и вызвавшего в ней чахотку… Я не помню ничего равного *прозрачной* красоте и ангельскому характеру моей кузины во время короткого периода нашей любви. Она смотрела тогда так, как будто была сделана из радуги – вся красота и мир… Моя страсть производила свое обычное действие на меня: я не мог ни спать, ни есть, ни найти себе покоя. Хотя у меня были все основания верить, что она любила меня, однако я не мог никогда терпеливо переждать те двенадцать часов, которые отделяли одно свидание наше от другого. Я был глуп тогда и не стал особенно умнее теперь…»

Вскоре после переезда Байрона в Лондон любимая няня его Мэй Грей навсегда распростилась с ним и вернулась на свою родину. Расставаясь с ней, Байрон подарил ей на память свои первые часы и миниатюрный портрет во весь рост, который срисовал с него один эдинбургский художник еще в 1795 году. На этом, самом раннем, портрете он представлен стоящим с луком и стрелами в руках и с длинными кудрями, падающими на его плечи. Байрон впоследствии несколько раз писал письма своей няне и всегда вспоминал о ней с самой нежной любовью, как и она о нем.

Глава II. В школе

Байрон пробыл в школе д-ра Гликки около двух лет, после чего мать, недовольная медленными успехами сына, – в чем она же, между прочим, первая была виновата, – перевела его в знаменитую классическую школу в Харроу. Байрон отправился в новую школу неохотно и первое время было ему там не по себе. Переход от тихой и скромной школы д-ра Гликки к шумной аристократической школе в Харроу был слишком резок для чрезвычайно застенчивого мальчика. Он знал, что его новым и весьма богатым товарищам было известно несоответствие его материальных средств с его титулом, – и это обстоятельство оскорбляло его детское самолюбие. Юный лорд стеснялся своего шотландского произношения, его мучило сознание своей уродливости, и, наконец, ему стыдно было, что он знал гораздо меньше мальчиков одного с ним возраста. К счастью для него, ректором школы в Харроу тогда был опытный педагог и прекрасный человек. Д-р Друри (так звали ректора школы) следующим образом описывает впечатление, которое произвел на него Байрон при своем появлении в Харроу. «Ему было тогда несколько более 13 лет. Мне его рекомендовали как мальчика плохо подготовленного, но довольно *смышленого*. Я первым делом пригласил его к себе в кабинет и старался путем расспросов выведать у него, чем он раньше занимался, какие у него были товарищи и что его больше всего интересовало. Но от него почти ничего нельзя было добиться, и для меня скоро стало ясным, что на мое попечение отдан дикий горный жеребенок. Я, однако, заметил ум в его глазах и потому решил прежде всего свести новичка с каким-нибудь более взрослым мальчиком, который бы познакомил его с новыми для него условиями и порядками. Но то, что он узнал от своего нового знакомого, не только не примирило его со школой, а, напротив, еще больше обескуражило: он понял, что его познания далеко не соответствовали его возрасту и что ему, стало быть, придется сидеть рядом с мальчиками, которые были гораздо моложе его. Но я поспешил отдать самолюбивого мальчика на особое попечение одного из учителей и, кроме того, уверил его, что ему не будет предложено определенного места в школе до тех пор, пока он путем прилежания не догонит учеников своего возраста. Это заявление ему очень понравилось, и он после того стал чувствовать себя легче с новыми товарищами, хотя робость еще долго не покидала его. Я скоро убедился в том, что по своему характеру он принадлежал к тем детям, которых гораздо легче

водить на шелковом шнурке, чем на толстой веревке, и впоследствии обращался с ним согласно этому убеждению…»



Внешний вид школы в Харроу во времена Байрона.

Хаттроу.

Анджолина. ***С картины Ф.Стоуна, гравюра В. Финдена***.

А вот как сам Байрон описывает в одном из дневников жизнь свою в Харроу:

«Как это ни странно, но до 18-летнего возраста я никогда не прочел ни одного газетного листа. Однако в Харроу мое обширное знакомство с современными вопросами заставляло некоторых подозревать, что я черпал свои сведения из газет, так как меня никогда не *видели* читающим, но всегда праздным, занятым шалостями или играми. Но на самом деле я читал во время еды, читал в постели, читал в такое время, когда никто другой не читал, и читал всевозможного рода книги с пятилетнего возраста; но мне никогда не попадались в руки газеты, – и это единственная причина, почему я их не читал… В

школе я выделялся обширностью своих *общих* познаний, но во всех других отношениях я был лентяем. Время от времени со мной случались внезапные припадки замечательного усердия, но к правильному труду я никогда не был способен. Таланты, которые я тогда обнаруживал, были скорее декламаторские и боевые, чем литературные, и д-р Друри, мой великий покровитель, судя по моему голосу и по плавности, богатству, страстности и энергии моих речей, был того мнения, что из меня со временем выйдет замечательный оратор. Я помню, как ректор был поражен моей первой речью и как он, против своего обыкновения, осыпал меня в присутствии всех комплиментами. Но зато к первым стихам моим, представлявшим перевод из Эсхилова „Прометея“, он отнесся довольно холодно. Никому тогда и в голову не приходило, что я когда-нибудь сделаюсь поэтом… Чудом нашей школы был Джордж Синклер; он делал упражнения за половину школы; сочинял стихи экспромтом и решал задачи, не задумываясь ни на минуту… Синклер был моим другом и иногда просил меня позволить ему сделать за меня мои упражнения; я всегда чрезвычайно охотно разрешал ему это, так как у меня всегда имелось в запасе какое-нибудь другое занятие, более приятное, чем приготовление уроков. С другой стороны, он был мирного характера, а я – воинственного, так что я воевал за него и колотил других, или же колотил его самого, чтобы заставить его колотить других, когда это необходимо было во имя чести. Мы часто толковали с ним о политике, так как он считался у нас большим авторитетом в этой области, и, вообще, были большие друзья… Школьная дружба у меня всегда имела характер *страсти* (потому что я никогда ни в чем не знал меры), но я не знаю ни одной такой дружбы, которая бы сохранилась у меня до сих пор. Моя дружба с лордом Кларом была одной из самых ранних и продолжалась дольше всех, будучи в настоящее время прервана только расстоянием. Я никогда не могу слышать имени „Клар“ без того, чтобы сердце мое не забилось сильно даже теперь…»

Хотя Байрон с самого детства очень гордился своим аристократическим происхождением, однако в выборе друзей он всегда отдавал предпочтение личным достоинствам перед титулом. По своему общественному положению большинство школьных, а впоследствии и университетских друзей, были гораздо ниже его. Это обстоятельство объясняется, впрочем, гораздо больше гордостью и самолюбием Байрона, чем демократизмом его чувств. Он любил всегда и во всем быть первым, разыгрывать роль вождя или покровителя. Потому-то он легче всего сближался обыкновенно с теми мальчиками, которые

были моложе его и физически слабее. Один из лучших друзей его в Харроу, Вильям Гарнесс, был моложе его на целых четыре года, гораздо слабее его и притом обладал таким же, как и он, физическим недостатком. Подружился он с этим мальчиком при следующих обстоятельствах. Гуляя однажды на школьном дворе, Байрон заметил, что большой и здоровый мальчишка обижал маленького и тщедушного Гарнесса; он немедленно вмешался и прогнал буяна. На другой день после этого, увидев того же Гарнесса одиноко и печально стоящим вдали от всех, он подошел к нему и сказал: «Гарнесс, если кто-нибудь впредь будет обижать тебя, ты скажи мне – уж я его поколочу». С этой минуты они стали неразлучными друзьями.

В отношениях со своими школьными друзьями Байрон всегда обнаруживал благородство и великодушие, иногда доходившие чуть ли не до героизма, как это показывает следующий трогательный случай. Одним из товарищей и приятелей его в Харроу был, между прочим, Роберт Пиль, впоследствии знаменитый государственный деятель Англии. Байрону пришлось раз быть свидетелем того, как его маленького друга жестоко хлестал кнутом по голой руке один из больших буянов школы за то, что он не исполнял какого-то данного ему приказания. Жалобные крики бедного Пиля причиняли Байрону страшную душевную боль, но он знал, что ему невозможно было справиться с гораздо более сильным мучителем его друга, – даже подходить близко к тому было бы опасно… Но, наконец, он не в силах был более выдержать и, приблизившись к месту экзекуции с глазами, полными слез, дрожавшим от страха и негодования голосом робко спросил буяна, не может ли тот сказать ему, сколько затрещин он намерен влепить его другу. «А тебе зачем это знать, негодный мальчишка?» – с удивлением спросил тот. «А затем, – отвечал Байрон, протягивая свою руку, – что, если вам угодно, я готов получить за него половину…» За такую самоотверженность и благородство Байрона очень любили в Харроу, и за последние годы своего пребывания там он пользовался огромной популярностью среди школьников. Но зато в первые полтора года жизнь его в школе была довольно-таки несладкой. Школьники очень не любили его, пока не узнали ближе; вечно смеялись, а иногда даже жестоко и глупо подшучивали над ним. «Я был сначала самым непопулярным мальчиком в школе, – рассказывает он сам в своем дневнике, – но впоследствии стал вожаком».

Отношения между Байроном и его любимыми товарищами не были похожи на обыкновенную дружбу между мальчиками. В них было слишком много женственного; они скорее походили на ту дружбу, какая бывает между молоденькими институтками: та же

болезненная сентиментальность, те же слезы, ревность, ссоры из-за пустяков и следовавшие за ними нежные примирения. Байрон однажды, например, жестоко обиделся на одного из школьных друзей своих за то, что тот в письме к нему назвал его «мой дорогой Байрон» вместо «мой дражайший Байрон»… Первые стихотворения его полны нежных обращений к любимым школьным товарищам. После его смерти среди оставшихся бумаг были найдены тщательно сохранявшиеся им письма, которые он получал в детстве от товарищей. На тех из детских посланий, на которых авторы их забыли написать числа, они были много лет спустя поставлены на память заботливой рукой Байрона.

О ректоре школы Байрон также сохранил самое светлое воспоминание. «Д-р Друри, – говорит он в своем дневнике, – лучший и добрейший из всех друзей, которых я когда-либо имел. Я до сих пор еще продолжаю смотреть на него, как на отца…» У профессоров школы Байрон пользовался не совсем незаслуженной репутацией лентяя, вряд ли способного чему-нибудь научиться. Главными предметами преподавания в школе были древние языки и математика, а именно к этим-то наукам Байрон и чувствовал непреодолимое отвращение. Зато в шалостях и во всякого рода проказах он всегда бывал первым. Когда д-р Друри ушел из школы и на его место назначен был Батлерс, все горячие поклонники старого ректора считали своим долгом доказывать свою любовь и верность ему упорным неповиновением его преемнику. Вождем бунтовщиков был выбран Байрон, который, по мнению своих товарищей, обнаружил в этом случае необыкновенные таланты полководца. Он продолжал относиться враждебно к новому ректору еще долго после того, как его армия уже сложила оружие. Но тот же Байрон умел иногда быть и очень благоразумным и сдерживать товарищей, когда они в своих шалостях заходили уж слишком далеко. Когда, например, во время бунта против нового ректора школьники захотели поджечь одну из классных комнат, он удержал их от этого, заметив, что вместе с комнатой сгорят и украшающие ее стены имена тех знаменитых предшественников, которые до них учились в Харроу. Свободное от школьных занятий время Байрон большей частью посвящал чтению, так как из-за своей хромоты он мог принимать участие только в очень немногих играх своих товарищей. На небольшом церковном кладбище, находящемся рядом со школой в Харроу, есть могила, которую теперь любят посещать почитатели Байрона. Эта могила во время его пребывания в Харроу была известна среди школьников как «могила Байрона», так как на ней обыкновенно любил сидеть в свободные часы будущий великий поэт. Здесь Байрон просиживал

нередко по несколько часов, занимаясь чтением или же любуясь чудным видом, который открывается с этого места. Сюда же он приходил обыкновенно и в минуты непонятной тоски; устремив взор свой вдаль, юноша предавался здесь меланхолическим размышлениям и первым поэтическим мечтам. Здесь он, пятнадцатилетним мальчиком, написал в предчувствии грядущей славы следующие замечательные строки:

Пусть имя лишь мое отметят на могиле!
Когда ж оно не может прах мой честью увенчать,—
Я не хочу, чтобы мои дела затмила
Иная слава… Имя привлекать
Должно людей туда, где будет прах мой скрыт:
Забудет имя мир, – пусть будет прах забыт!

(Перевод В. Огаркова)

Во время летних каникул 1802 года Байрон в первый раз увидел свою сестру Августу. Она с четырехлетнего возраста жила у родных своей покойной матери, и, когда ее увозили от отца и мачехи, брату ее было всего несколько месяцев от роду. Теперь ему уже было 14 лет, а ей —18. Байрон сначала был сильно разочарован в своей сестре: он ожидал встретить необыкновенную красавицу, а она оказалась просто некрасивой. Но, познакомившись с ней ближе, он полюбил ее простое, но чрезвычайно милое лицо и был очарован ее ангельским характером. Нежная дружба, начавшаяся между ними в то время, не прерывалась более и не ослабевала до самой смерти Байрона; она, напротив, укреплялась с каждым годом и становилась нежнее и трогательнее, по мере того как жизнь поэта все более и более омрачалась…

Через год после свидания с сестрой Байрон влюбился в третий раз. Он проводил летние каникулы 1803 года в Ноттингеме, куда опять переехала его мать. В нескольких километрах от этого города и в близком соседстве с Ньюстедским замком жило в своем имении Эппизли богатое, аристократическое семейство Чеворт, родственники того Чеворта, который был убит на дуэли с двоюродным дядей Байрона. С этим семейством молодой ньюстедский лорд познакомился еще в Лондоне, а когда он приехал на каникулы в Ноттингем, то стал часто посещать его в Эппизли. Он в короткое время сошелся с Чевортами очень близко, стал проводить у них целые дни и нередко даже оставался у них ночевать. Большую часть своего времени в Эппизли Байрон проводил в прогулках верхом вместе с

очаровательной мисс Чеворт, единственной наследницей его гостеприимных хозяев. По возвращении с прогулок домой мисс Чеворт обыкновенно садилась за рояль и играла тайному обожателю своему его любимые вещи. Пятнадцатилетний Байрон чувствовал себя в такие минуты счастливейшим из смертных и утопал в восторге как от музыки, так и еще более от музыкантши. Только одно обстоятельство отравляло его счастье: он знал, что сердце мисс Чеворт уже принадлежало в это время другому. Но он все-таки надеялся. По уши влюбленному школьнику казалось, что он производил сильное впечатление как своей наружностью, так и своими разговорами. Он старался разыгрывать перед мисс Чеворт роль женского сердцееда и, для того чтобы окончательно поразить ее, показал ей однажды, в виде доказательства своих прочных успехов у женщин, локон, данный ему одной из его многочисленных жертв. Это был тот самый локон, который он получил всего лишь три года до того от своей прелестной кузины Маргариты Паркер, в которую он был тогда так страстно влюблен и которую много лет спустя после своего третьего романа все еще с такой нежностью вспоминал в своем дневнике. Но все надежды и старания юного Байрона были тщетны. Мисс Чеворт, которая была на два года старше своего обожателя и на много лет опытнее его, в душе хохотала над влюбленным школьником. Она не без основания находила наружность этого чересчур полного юноши, с толстыми щеками и заплывшими жиром глазами, далеко не романтической, а его самоуверенное ухаживание по меньшей мере смешным. Развязка романа, однако, наступила гораздо скорее, чем Байрон ожидал, и была более жестока, чем он этого заслуживал. Влюбленный юноша имел несчастье однажды ночью нечаянно подслушать, как в соседней комнате предмет его пламенной страсти спокойно заметил своей горничной: «Неужели ты в самом деле воображаешь, что я обращаю серьезное внимание на этого хромого мальчика?» Эти ненамеренно жестокие слова, как громом, поразили Байрона. Несмотря на поздний час, он моментально выскочил на двор и пустился бежать куда глаза глядят. Он пришел в себя только тогда, когда очутился в Ньюстеде…

Мэри Чэворт.

Байрон после этого встретился с мисс Чеворт еще раз летом

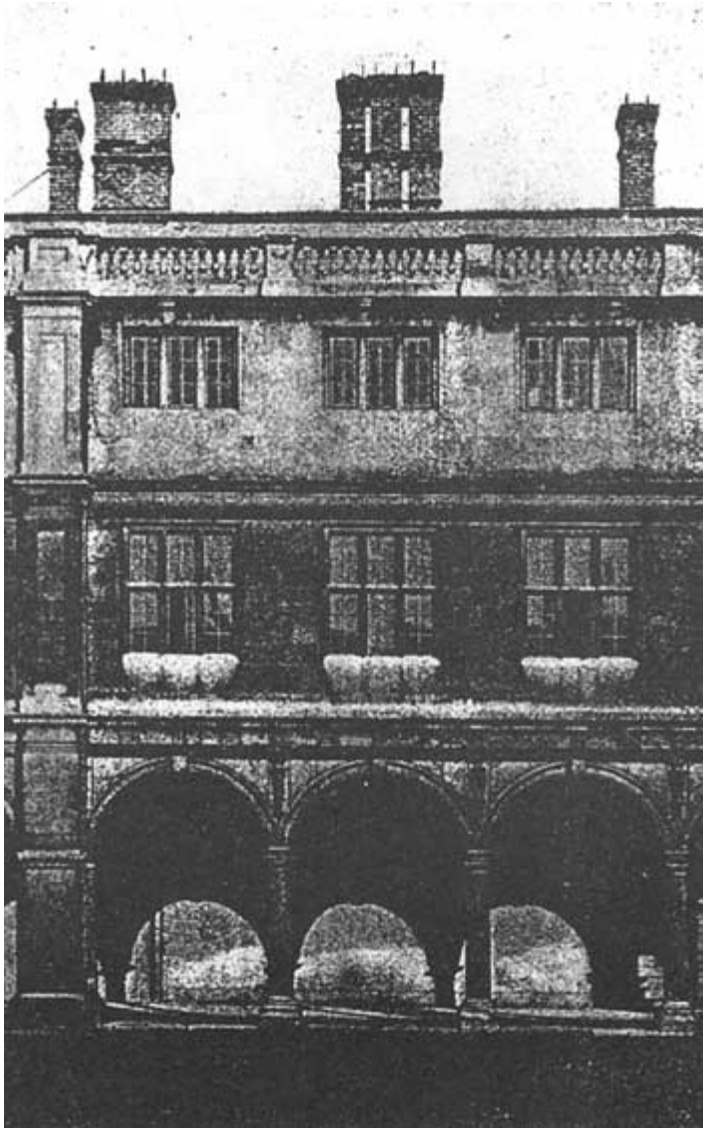
следующего года. Это свидание их, оказавшееся последним, произошло на одном из холмов близ Эппизли. Байрон имел тогда вид совершенно спокойный, хотя на душе у него было далеко не весело. «Когда я увижу вас в следующий раз, – сказал он ей, прощаясь, – вы уже, вероятно, будете замужем». – «Да, надеюсь», – спокойно ответила та.

Так окончился третий роман в жизни Байрона и его последняя истинно романтическая любовь…

Глава III. В университете. Первые произведения

В октябре 1805 года Байрон распростился с Харроу, после четырехлетнего пребывания там, и отправился в Кембридж для поступления в старинный университет, составляющий славу этого города. Чувства, с которыми 17-летний юноша покидал любимую школу, были далеко не радостными. «Когда я в первый раз приехал в университет, – говорит он в своем дневнике, – новая обстановка произвела на меня удручающее впечатление. Мне страшно не хотелось покидать Харроу. Еще за несколько месяцев до отъезда я уже начал с мучительной тоской считать дни, которые мне оставалось пробыть там. Я всегда *ненавидел* Харроу, но в последние полтора года я полюбил его. Затем, мне хотелось поступить в Оксфорд, а не в Кембридж; и, наконец, я был совершенно одинок в этом новом для меня мире… Сознание того, что я уже больше не был отроком, доставляло мне одно из самых мучительных ощущений, какое мне приходилось когда-либо до этого или после этого испытывать».

Это удрученное состояние Байрона продолжалось, однако, недолго. Он мало-помалу вошел в колею новой жизни и стал чувствовать себя в Кембридже если не лучше, то, во всяком случае, и не хуже, чем раньше в Харроу.



Жилище Байрона в пору учебы в Тринити-колледже, Кембридж.

Одиночество его тоже не было особенно продолжительным. Он скоро нашел себе друга в лице одного из хористов университетской церкви, очень чувствительном юноше, который был моложе его на два года. Эта первая университетская дружба была для него еще большею «страстью», чем предшествовавшие школьные дружбы. Уехав из Харроу с очень скудным запасом знаний, Байрон по прибытии в Кембридж не выказывал ни малейшего желания хоть сколько-нибудь увеличить их. Это

объясняется, впрочем, тем обстоятельством, что обучение в Кембриджском университете, в сущности, было только продолжением обучения в Харроу. Там тоже главными предметами преподавания считались классические языки и математика. Нисколько не удивительно поэтому, что Байрон продолжал ненавидеть в университете науки, к которым он чувствовал отвращение еще в школе. Но в Кембридже он занимался науками, даже еще меньше, чем в Харроу, потому что там он был свободнее и независимее, чем в школе. Байрон, в сущности, не учился в университете, а только жил в нем, так как большую часть своего времени проводил вне его и возвращался туда только спать. Он занимал в Кембридже прекрасно меблированные комнаты и держал собственного лакея. По вечерам у него часто собирались любимые товарищи, и тогда молодая компания проводила время (часто всю ночь) в чтении, разговорах, пении и игре на разных музыкальных инструментах; бывали и попойки; немало отдавалось времени и картам. Днем Байрон занимался обыкновенно всякого рода доступным ему спортом: ездил верхом, стрелял в цель или плавал в узкой, но очень глубокой местной речке Кэм. Он тогда уже славился как замечательный пловец. Байрон любил проводить целые часы в воде, упражняясь в плаванье и выделывая там всевозможные штуки: например, бросал в воду, в самых глубоких местах реки, разные мелкие вещицы и затем, ныряя, доставал их со дна. Он был настолько же ловок в воде, насколько неловок на суше. При виде Байрона, легко и грациозно плывущего в воде, никому из не знавших его и в голову не приходило, что этот же самый юноша не мог сделать и сотни шагов на суше без усталости и мучительнейшей боли в ногах. Но большую часть своего времени, иногда даже по несколько месяцев подряд, Байрон все-таки проводил вне Кембриджа, так как ненавидел свой университет с его науками, профессорами и начальством и даже никогда не считал нужным скрывать этого. Он держал себя с университетским начальством надменно и дерзко и в короткое время успел внушить ему страшную ненависть к себе. Оно смотрело на него и на его друзей как на самый вредный, даже опасный элемент в университете и с нетерпением ожидало, когда он уберется оттуда. В продолжение всей своей последующей жизни Байрон не переставал отзываться с ненавистью о своей бывшей alma mater и ее жрецах и жестоко «отделывал» их при всяком удобном случае в своих сочинениях.

Летом 1806 года Байрон отправился из Кембриджа в Соутвел, где тогда проживала его мать. В этом небольшом городе он пробыл почти целый год, время от времени отлучаясь оттуда

только на несколько дней в Лондон и в другие места. В своем университете он в течение всего этого года даже и не показывался. В Соутвеле Байрон скоро сошелся очень близко с прекрасным семейством Пигота и с просвещенным пастором Бичером. К соседним дворянам он никогда не ездил, несмотря на их неоднократные приглашения, и старался держаться в стороне от людей своего класса, отчасти вследствие крайней застенчивости, преимущественно же оттого, что стеснялся несоответствия своих ограниченных материальных средств с положением в обществе. Зато у Пиготов он чувствовал себя прекрасно: бывал у них каждый день, принимал участие во всех домашних празднествах и даже посещал вместе с ними их знакомых. В их кругу он был прост, мил, добродушен и нисколько не застенчив. Но стоило только ему услышать, сидя у Пиготов, что к ним пришел кто-то, с кем он не был знаком, – и прежняя застенчивость внезапно овладевала им опять: он нередко в ужасе выскакивал из окна, чтобы не встретиться с новым чело веком.

Как и в Кембридже, любимыми занятиями Байрона в Соутвеле были плаванье, стрельба в цель и верховая езда. Но, кроме этого, он еще занимался здесь очень усердно чтением и сочинением стихов. Он начал писать стихи еще в Кембридже, но только в Соутвеле это стало для него обычным и регулярным занятием. Как и в течение всей своей последующей жизни, в этот самый ранний период своей творческой деятельности он любил посвящать музе преимущественно ночи; ложился спать очень поздно и вставал поздно. После завтрака Байрон обыкновенно отправлялся к мисс Пигот, которая исполняла для него роль переписчика, и отдавал ей плоды последней ночи; затем посещал пастора Бичера и беседовал с ним о литературе или читал ему свое последнее произведение. Остаток дня он посвящал любимым физическим упражнениям, а вечера большей частью проводил в семействе Пиготов, слушая игру хозяйки на рояле; иногда юный поэт вместе с нею и под ее аккомпанемент пел свои любимые народные песни. Наедине с матерью он старался оставаться как можно меньше, во избежание ссор с ней. Но ссоры все-таки бывали, а иногда даже и довольно крупные. Они происходили обыкновенно ночью, когда Байрон бывал дома. Однажды они поссорились так жестоко, что после этого каждый из них опасался, как бы другой в отчаянии не лишил себя жизни; тайно один от другого они посетили в эту же ночь местного аптекаря, осведомляясь в страшной тревоге, не брал ли другой яду, и прося не отпускать ему в случае, если он придет за ним.

Во время этих ссор Байрон обыкновенно играл пассивную роль. Он предоставлял матери неистовствовать, сколько ее душе

было угодно, а сам в это время хранил глубокое молчание. В тех же случаях, когда мать его, не довольствуясь одной бранью, угрожала излить свою ярость в энергичных действиях, он обыкновенно спасался бегством из дому на всю ночь. После одной необыкновенно горячей ссоры, когда мать в ярости своей дошла до того, что швырнула в него железными каминными щипцами, Байрон среди ночи прибежал без шляпы к Пиготам и просил, чтобы они позволили ему переночевать у них. На другое утро после этого он тайно от матери уехал в Лондон и, по прибытии туда, написал Пиготам, чтобы они известили его о «настроении и движениях неприятеля», не сообщая тому, однако, его адреса. Он намеревался не возвращаться домой до тех пор, пока «неприятель» не пойдет на уступки и не выразит надлежащим образом своего раскаяния. Но «неприятель», однако, очень скоро узнал место его убежища и в одно прекрасное утро неожиданно предстал перед ним.

Вот как Байрон сам в письме к Пиготам описывал тогда эту трагикомическую встречу с матерью. «Я не могу с полным правом сказать вместе с Цезарем „veni, vidi, vici“ („пришел, увидел, победил“); однако самая важная часть этого лаконического извещения об успехе приложима и к моему теперешнему положению, так как несмотря на то, что госпожа Байрон побеспокоилась „прийти и увидеть“ меня, все-таки не ей, а вашему покорному слуге удалось „победить“. После продолжительной и упорной схватки, в которой „мы“ понесли значительные потери вследствие быстроты неприятельского огня, „они“, наконец, отступили в беспорядке, оставили на поле битвы всю свою артиллерию, свой экипаж и несколько раненых: их поражение было решительным, по крайней мере, что касается нынешней кампании. Говоря проще: госпожа Байрон возвращается немедленно в Соутвел, а я вместе со всеми моими лаврами отправляюсь в Вортинг…»

Во время всех этих семейных дрязг Байрон занимался приготовлением к печати первого сборника своих стихотворений, который и вышел в свет в ноябре 1806 года. Это была небольшая книжка, напечатанная одним из провинциальных издателей на средства самого автора. Она была выпущена в очень ограниченном количестве экземпляров и предназначалась только для самых близких знакомых молодого поэта. Первый экземпляр был послан Бичеру, от которого через несколько дней Байрон получил рифмованный отзыв, строго осуждавший его книгу за чересчур реалистическое направление некоторых ее мест. Этот отзыв уважаемого автором пастора решил судьбу книги. Байрон в своем (тоже рифмованном) ответе Бичеру признал

справедливость критики последнего и заявил о своей готовности предать огню все издание. Несколько дней спустя после того молодой поэт в присутствии строгого критика собственными руками сжег все экземпляры своей первой книги. Этот поступок был, конечно, большой жертвой для 19-летнего Байрона и показывает, как высоко он ставил мнение Бичера и до какой степени, по натуре своей гордый и неукротимый, был способен подчиняться руководству тех, кто умел внушить ему любовь и уважение к себе.

Два месяца спустя после сожжения первого издания своих стихотворений Байрон выпустил в свет второе издание, значительно увеличенное новыми произведениями; но в него, однако, не вошли те из прежних, которые были осуждены пастором. Этот второй сборник, названный по латыни «Juvenilia», был напечатан в количестве 100 экземпляров и предназначался для более обширного круга читателей, чем первый. Не успело еще это издание разойтись, как Байрон уже начал готовить к печати третье. Ободренный успехом, который имела книга среди его знакомых, он решил теперь уже выступить перед всей английской читающей публикой. Третий сборник его, носивший название «Часы досуга», появился в марте 1807 года. Он содержал, за некоторым исключением, все стихотворения прежнего издания и, кроме того, еще несколько новых. Это первое публичное выступление Байрона на литературной сцене было встречено сначала довольно благоприятно. Большинство английских журналов отозвалось очень благосклонно о дебюте молодого поэта, и книга продавалась довольно бойко. Байрон был, конечно, очень доволен успехом своих «Часов досуга», но, однако, с самого начала предчувствовал, что этот успех был непрочен.

После выхода в свет «Часов досуга» Байрон вернулся в Кембридж и пробыл там на этот раз до весны 1808 года. Он привез туда ручного медвежонка, которого держал на своей квартире вместе с двумя огромными собаками. Когда его спрашивали, зачем ему было привозить в университет медведя, он отвечал, что тот «будет держать экзамен на ученую степень». Отношение к нему профессоров и университетского начальства после появления его книги, в которой он отзывался о них нелестно, стало, конечно, хуже прежнего. Он продолжал так же мало интересоваться науками, как и в первый год своего пребывания в Кембридже.

Байрон в 1807 году. ***Портрет работы Сандерса.***

В январе 1808 года появился знаменитый разбор «Часов досуга» в «Эдинбургском обозрении» – самом выдающемся критическом журнале того времени. Статья анонимного критика была резкой и беспощадной. Байрона третировали в ней как барчука, занимавшегося поэзией от безделья; в его стихотворениях не находили никаких проблесков оригинального таланта, и в заключение в ней выражалась надежда, даже уверенность, что эта первая книга его будет вместе с тем и последней. Эта незаслуженно жестокая критика произвела ужасное впечатление на Байрона. Он впоследствии рассказывал, что в тот день, когда ему довелось прочесть эту статью, он выпил за обедом целых три бутылки вина, но что это не помогло ему; волнение несколько улеглось только после того, как поэт излил свое негодование в 20 стихах. Он чувствовал себя глубоко

оскорбленным и жаждал жестокой мести. Статья «Эдинбургского обозрения» была тогда очень многими признана крайне несправедливой по тону, хотя почти все соглашались с высказанными в ней мнениями о ранних произведениях Байрона.

После появления статьи в «Эдинбургском обозрении» для Байрона стало уже невозможным оставаться дольше в Кембридже, так как он стал встречать там на каждом шагу торжествующие лица своих врагов – профессоров и университетских властей. Поэт уехал поэтому в Лондон, где пробыл до осени. Образ жизни его в столице нисколько не походил на прежнюю жизнь в Соутвеле. Свободный от надзора матери и лишенный благотворного влияния своих друзей Пиготов и советов пастора Бичера, 20-летний юноша сразу ринулся в самый омут лондонской жизни, причем в компании с несколькими другими молодыми людьми разъезжал по столичным вертепам и набирался там опыта и знания жизни. Он проводил, впрочем, время ничуть не хуже, чем все другие юноши его сословия. Тогда смотрели на подобное поведение молодежи как на нечто вполне естественное. Молодого поэта в ту пору встречали довольно часто на улицах Лондона и Брайтона в сопровождении красивого молодого пажа, в котором нетрудно было узнать переодетую кокотку. Его знакомые при этих встречах только добродушно улыбались, не находя в этом ничего предосудительного. Такого рода удалые шутки даже нравились тогда. Послеобеденное время Байрон часто проводил в «Школе благородного искусства самозащиты» – проще говоря, в заведении знаменитого тогда в Лондоне боксера Джексока, у которого собиралась ежедневно вся столичная золотая молодежь для упражнения в благородном искусстве кулачного боя. С профессором Джексоком молодой лорд так подружился в это время, что в письмах к нему называл его «дорогим Джеком». Такого рода образ жизни требовал больших средств, и Байрон, не имея их, должен был прибегать к помощи ростовщиков. В одном из писем того времени он меланхолически замечает, что ко времени наступления его совершеннолетия долги его достигнут солидной суммы в 100 тысяч рублей.

Но разгульная жизнь не мешала, однако, Байрону много читать и отдаваться поэтическому творчеству. Он энергично занимался в это время сочинением сатиры, которая должна была жестоко наказать эдинбургских обозревателей за оскорбление, нанесенное ему их несправедливой критикой. Он писал эту сатиру необыкновенно медленно, тщательно отделывая в ней каждую строку, так как понимал, что от успеха этого произведения будет зависеть вся его будущая литературная

карьера. Молодой поэт еще раз посетил в том году Кембриджский университет для получения ученой степени, на которую он имел право. Осенью того же года Байрон переехал в свой Ньюстедский замок и продолжал там в тиши уединения точить оружие против своих литературных врагов. В ноябре 1808 года его постигло большое горе: он лишился своего любимого ньюфаундлендского пса Ботсвейна. Во время его болезни Байрон нежно ухаживал за ним и голой рукой обтирал ядовитую слюну с его губ. В одном из тогдашних писем своих он следующим образом извещал приятеля о постигшем его горе. «Ботсвейн умер! Он скончался 18 ноября от бешенства, которое причиняло ему большие страдания; он до конца продолжал быть кротким и ни разу не обнаруживал даже желания доставить малейшую неприятность окружавшим его. Я теперь потерял все, кроме старого Муррея» (лакей его). Ботсвейн был похоронен в Ньюстедском парке, и над могилой его хозяином был поставлен прекрасный памятник со следующей надписью:

Под этим местом
Покоятся останки того,
Кто владел красотой без тщеславия,
Силой без наглости,
Смелостью без жестокости,
И всеми достоинствами человека без его пороков.
Эта похвала, которая была бы ничего не значащей лестью,
Если бы она была подписана над прахом человека,
Представляет только справедливую дань памяти Ботсвейна,
пса,
Который родился на Ньюфаундленде в мае 1803 г.
И умер в Ньюстеде 18 ноября 1808 г.

На этом же памятнике было вырезано известное мизантропическое стихотворение Байрона, оканчивающееся следующими печальными строками:

Под камнем могильным прах милый лежит:
Один был мне другом – и тот *здесь* зарыт!

В январе 1809 года Байрон скромно отпраздновал в Ньюстеде, в кругу близких друзей, наступление своего совершеннолетия. После этого он немедленно отправился в Лондон, для того чтобы отдать в печать уже оконченную им тогда сатиру «Английские барды и шотландские обозреватели?» О настроении его во время создания этой знаменитой сатиры

можно судить по тем многочисленным изменениям, которые он сделал в ней во время ее печатания. 13 марта Байрон в первый раз явился в палату лордов и одиноко, мрачно занял свое место на скамьях либеральной оппозиции. Несколько дней спустя после этого вышла из печати его сатира. Она сразу же произвела фурор. Первое анонимное издание ее разошлось в течение одного месяца. Необыкновенная сила и остроумие, с которыми молодой поэт громил в своей сатире шотландских критиков, до того пользовавшихся исключительной привилегией нападать и издеваться над начинающими писателями, встретили почти всеобщее одобрение, а смелость и юношеский задор, с которыми он развенчивал тогдашних литературных кумиров, делали ее чрезвычайно оригинальной и любопытной для читающей публики. Но эта же сатира в то же время привела в страшное негодование массу затронутых в ней лиц вместе с их друзьями и поклонниками. Далеко не все нападки, сделанные Байроном в его сатире, были справедливы или, по крайней мере, беспристрастны. Оскорбленный небольшой кучкой шотландских критиков, он в своем негодовании бросил вызов чуть ли не всем английским и шотландским писателям того времени. Поэт осмеял даже таких писателей, произведениями которых он в то время восторгался и которые несколько лет спустя стали лучшими его друзьями, как, например, Вальтер Скотт и Томас Мур. Байрон впоследствии сам сознавал все это и в своих последующих произведениях не раз высказывал сожаление, что написал эту «свирепую» сатиру.

За первым изданием «Английских бардов и шотландских обозревателей» последовало очень скоро второе, уже с именем автора и, кроме того, увеличенное сотней новых стихов. Сдав в печать это новое издание своей сатиры, Байрон стал готовиться к далекому путешествию, о котором мечтал с самого детства. В конце мая 1809 года он вернулся в Ньюстед, куда вскоре затем съехались все друзья его, для того чтобы надлежащим образом отпраздновать отъезд поэта на Восток. Отправляясь в далекое и, в то неспокойное время, не совсем безопасное путешествие, Байрон предварительно написал завещание, в котором, между прочим, просил, чтобы в случае смерти останки его положили в Ньюстедском парке рядом с покойным другом его – ньюфаундлендом Ботсвейном.

Глава IV. Путешествие. «Чайльд-Гарольд»

Заняв дополнительно денег, распростившись с матерью и пролив прощальную слезу над могилой Ботсвейна, Байрон в начале июня 1809 года уехал из Ньюстеда в Фальмут, где он должен был сесть на корабль, отправлявшийся на Восток. Молодой лорд, всего тогдашнего дохода которого едва хватило бы для уплаты одних процентов по его долгам, взял с собой в дорогу трех камердинеров и большой гардероб роскошной одежды, между прочим, ярко-красный сюртук, вышитый золотом и покроем напоминавший мундир английского адъютанта. Этот пышный сюртук предназначался для самых торжественных случаев. Подобно своему будущему герою Чайльд-Гарольду, в котором он изобразил самого себя, Байрон покидал родину в самом мрачном настроении духа. Он был пресыщен «женщинами, вином и славой» и видел кругом себя только «тучи и мрак». За несколько дней до отплытия из Фальмута поэт написал другу следующее: «Я оставляю Англию без сожаления и вернусь в нее без удовольствия. Я подобен Адаму, первому преступнику, приговоренному к ссылке, но у меня нет никакой Евы и я не отведывал никакого яблока, кроме разве уж очень кислого…»

2 июля корабль, везший Байрона и его друга Гобгауза, дождавшись попутного ветра, снялся с якоря и вышел из Фальмута. Молодой поэт долго стоял на палубе быстро удалявшегося судна и с глубокой тоской смотрел на исчезавшие в последних лучах заходившего солнца берега своей родины. То, что ему приходилось испытывать в эти минуты, он впоследствии выразил в «Чайльд-Гарольде» в прелестной песне, начинающейся следующими трогательными строками:

Прости! Утопает в дали голубой
Родимого берега вид;
Волна за волною ревет вперебой,
И дикая чайка кричит.
Мы видим, как солнце в морской глубине
Торопится отдых найти…
Прости и тебе, как родимой стране!
Мой край! доброй ночи! прости!

(Пер. Д. Минаева)

Благодаря хорошей погоде, корабль через два с половиной дня уже был в Лиссабоне. Здесь Байрон отличился, переплыв страшно быструю реку Таго в самом широком ее месте. Из Лиссабона он и Гобгауз решили, отослав свой багаж морем в Гибралтар, самим отправиться туда на лошадях через юго-западную Испанию. В многочисленных письмах своих, посылавшихся с пути матери и друзьям, Байрон замечательно подробно описывал все то, что ему пришлось видеть, слышать и испытать. Тон всех этих писем чрезвычайно игривый; в них нет и следа той тоски, с которой он покидал Англию. Кроме описаний местностей и нравов, они содержат и суждения о политических событиях, волновавших тогда Пиренейский полуостров.

Проехав на лошадях в семь дней около 500 английских миль, Байрон остановился отдохнуть в Севилье. О своих приключениях в этом городе он писал матери следующее: «Мы жили на квартире у двух незамужних испанок, которые доставили мне любопытный образчик испанских нравов. Они – женщины с характером, и старшая из них прелестна. Свобода нравов, представляющая здесь обыкновенное явление, немало изумила меня, и после некоторых наблюдений я убедился, что скромность не составляет характеристической черты испанских женщин, которые вообще очень красивы, имеют большие черные глаза и прекрасно сложены. Старшая хозяйка почтила вашего недостойного сына своим особенным вниманием. Она обняла его с большой нежностью при расставанье (я прожил у нее всего три дня) и, отрезав для себя локон от его волос, подарила ему свой, имеющий в длину около 3 футов; я его отсылаю вам и прошу сохранить до моего возвращения. Последние слова ее были „Adois, tu hermoso! Me gusto mucho“ („Прощай, красавчик! Ты мне очень нравишься“). Она предложила мне разделить с ней ее комнату, но моя добродетель заставила меня отклонить это предложение…»

После Севильи Байрон посетил «чудный» Кадикс, который ему показался «самым прелестным городом в мире». Оттуда он на фрегате добрался до Гибралтара, где 19 августа пересел на почтовый корабль, отправлявшийся на Мальту. Во время своего короткого пребывания на этом острове турист успел завязать платонический роман с госпожой Спенсер Смит, супругой английского посланника в Константинополе и героиней нескольких необыкновенных приключений. Именно эта дама и есть та Флоренс, которой посвящено несколько прекрасных страниц во 2-й песне «Чайльд-Гарольда». 21 сентября Байрон оставил Мальту и отправился дальше на восток. Корабль его следовал мимо берегов Греции, стоял несколько часов у Патраса

и, наконец, прибыл 28 сентября в Превизу, где Байрон и его спутник сошли на берег и отправились на экскурсию по Албании.

Байрон в албанском костюме.

Величественная красота страны и независимый характер ее полудиких обитателей произвели глубокое впечатление на поэта. В начале ноября он посетил губернатора Албании, знаменитого тогда Али-пашу, и удостоился блестящего приема. Байрон два раза едва не погиб во время этого путешествия по Албании. Раз его застигла страшная гроза в горах среди ночи с проводниками, не знавшими дороги. В другой раз он едва не утонул во время сильной бури у берегов Турции, причем, по свидетельству одного из тогдашних спутников его, обнаружил поразительное мужество

и самообладание. В то время как сам капитан корабля окончательно растерялся и все пассажиры были в полнейшем отчаянии, Байрон, не будучи в состоянии помогать в работе вследствие своей хромоты, сидел спокойно и подшучивал над смертельно испугавшимся своим лакеем; а когда опасность миновала и все несколько пришли в себя, капитан, к величайшему изумлению своему, нашел его крепко спящим на палубе.

В середине ноября Байрон отправился в Морею, а вечером 25 декабря перед изумленными очами его предстали в отдалении Афины. При виде развалин великого города из восторженной груди поэта вырвались знаменитые стихи:

Афины – старец величавый!
Твоих героев древних нет.
Они явились в мире с славой,
Прошли с победой… Где ж их след?

(Пер. Д. Минаева)

Эти же самые развалины древнего города воспеты Байроном и в его замечательном стихотворении «Проклятие Минервы», в котором поэт излил свое глубокое негодование против англичан за то, что они, пренебрегая патриотизмом греков, разграбили их древние памятники для обогащения своих собственных музеев. В это первое свое посещение Афин Байрон прожил там около трех месяцев. Он каждый день посещал развалины города и путешествовал по его знаменитым окрестностям. Во время посещения Греции, как впоследствии во время посещения Италии, великий поэт, к удивлению своих спутников, обнаруживал очень мало интереса к историческим местам или памятникам древнего искусства. Он любовался везде только общей картиной, не останавливаясь на подробностях, как бы они ни были священны своей древностью. «Я не люблю собирать коллекций древностей, – говорит он в одном из своих примечаний к „Чайльд-Гарольду“, – и не могу удивляться им». Он способен был восторгаться только величественными картинами природы и даже среди славных развалин Афин и Рима продолжал удивляться только ее же вечной красоте. Во время своего пребывания в Афинах Байрон жил на квартире у одной очень почтенной вдовы, имевшей трех красивых дочерей; старшую из них, Терезу, к которой он был очень неравнодушен, поэт впоследствии воспел под именем «Девы Афин». В марте 1810 года Байрон отправился в Смирну, где он окончил две первые песни «Чайльд-Гарольда», начатые за пять

месяцев до этого в Янине, а затем совершил экскурсию к развалинам Эфеса и к тому месту, где, по преданию, когда-то стояла Троя. Отправившись 11 апреля в Константинополь, поэт на пути туда переплыл Дарданелльский пролив между Зестосом и Абидосом. Этим подвигом своим Байрон чрезвычайно гордился; он хвастал им во всех письмах к друзьям и даже повторял по несколько раз одному и тому же лицу. В письмах к матери он описывает его следующим образом: «Сегодня утром я *плыл* от *Зестоса* до *Абидоса.* Кратчайшее расстояние между этими двумя пунктами не превышает одной мили; но быстрое течение делает это место опасным для плавания, и я подозреваю, что супружеская любовь Леандра потерпела немалое охлаждение во время его путешествия в Парадоз. Я пробовал переплыть это место неделю тому назад, но тогда мне это не удалось из-за северного ветра и ужасной быстроты течения. Сегодня же утром, когда было сравнительно тихо, мне удалось, и я переплыл „широкий Геллеспонт“ за один час и десять минут».

Побродив по Константинополю, налюбовавшись вдоволь Босфором и удовлетворив свое тщеславие посещением (в мундире адъютанта) вместе с английским посланником турецкого султана, Байрон 14 июля отправился вторично в Грецию, где на этот раз пробыл до весны 1811 года. На пути туда, заметив раз на палубе корабля большой турецкий кинжал, он воскликнул: «Хотел бы я знать, как себя чувствует человек после совершения убийства!» На основании этого мелодраматического восклицания Байрон впоследствии обвинялся своими соотечественниками в том, что он сам совершил однажды убийство; этим воображаемым убийством думали объяснить странный характер Лары и тайну Манфреда.

Во второй приезд свой в Грецию Байрон постоянное местопребывание имел в Афинах, откуда часто предпринимал экскурсии в другие местности страны. В это время поэт писал примечания к «Чайльд-Гарольду», «Подражания Горацию» и «Проклятие Минервы». В сентябре 1810 года он в первый раз заболел той самой болотной лихорадкой, от которой ему суждено было впоследствии преждевременно умереть. Медики, посещавшие его во время болезни, совершенно не знали своего дела, и он был спасен только благодаря усердию своих слуг, которые серьезнейшим образом заявили врачам, что ежели хозяин их умрет, то они постараются, чтобы и тех постигла та же участь, после чего ученые мужи прекратили свои визиты, и больной стал быстро поправляться. Байрон предполагал сначала перед возвращением в Англию посетить еще Египет, но ввиду неблагоприятных известий, полученных им от своего

управляющего, ему пришлось оставить этот план и поторопиться домой. На обратном пути поэт опять останавливался на Мальте и там вторично заболел лихорадкой. 3 июня он выехал оттуда на английском фрегате и в середине июля, после более чем двухлетнего отсутствия, был опять на родине.

Со времени болезни в Греции настроение духа Байрона значительно изменилось к худшему. В письмах его вместо прежнего игривого тона стала с тех пор уже слышаться грустная нотка. Он возвращался на родину крайне неохотно, так как знал, что найдет свои финансовые дела в крайне расстроенном состоянии. Однако то, что он нашел там, оказалось гораздо хуже самых печальных его ожиданий. Не успел он еще сойти с корабля в Портсмуте, как ему уже сообщили о смерти нежно любимого им друга Иддлестона, того самого молодого хориста, с которым он сблизился в Кембридже. Несколько дней спустя, т. е. 31 июля, он получил в Лондоне извещение о том, что мать его опасно заболела, а в ночь на 1 августа – второе извещение, уже о ее смерти; в ту же ночь он узнал о смерти другого друга своего и школьного товарища Вингфильда, а 7 августа ему сообщили о смерти третьего и самого уважаемого им друга Матьюса. Известие о смерти матери Байрон получил в тот момент, когда уже садился в экипаж, чтобы отправиться к ней. Прибыв в Ньюстед, он узнал, что она умерла после припадка необыкновенной ярости, вызванной чтением слишком большого счета, представленного ей обойщиком. Несмотря на то, что Байрон был более чем равнодушен к своей матери при жизни ее, – имея на это, как мы уже видели, очень достаточные основания, – смерть ее, однако, очень опечалила его. Сиделка покойной госпожи Байрон впоследствии рассказывала, что, услышав в ночь приезда молодого лорда какой-то шум в комнате, где лежала покойница, она вошла туда и, к великому удивлению своему, застала там Байрона печально сидящим у изголовья бездыханного тела матери. «О, миссис Бэй, – воскликнул он при виде ее, разрыдавшись, – я имел на свете только одного друга, и этого тоже не стало!..» В письме от 2 августа он следующим образом извещал своего приятеля о постигшем его семейном горе: «Бедная мать моя умерла вчера! На другой день после известия о ее болезни я услышал о ее смерти. Благодаря Богу последние минуты ее были чрезвычайно спокойны. Я чувствую теперь справедливость замечания Грея, что „мы можем иметь только одну мать“. Мир праху ее!»

Столько почти одновременных потерь – и таких крупных, – могли бы пошатнуть и человека более твердого и холодного, чем Байрон. Неудивительно поэтому, что на необыкновенно нежную и

впечатлительную душу молодого поэта все эти жестокие удары подействовали крайне удручающим образом. В продолжение нескольких месяцев тяжелая тоска не покидала его; временами он бывал даже близок к полному отчаянию. Все это время он жил одиноко в своем Ньюстедском замке, и только изредка его посещали там некоторые из очень немногих уцелевших его друзей. 7 августа он одному из них писал следующее: «Какое-то проклятие висит надо мною и над близкими мне. Мать моя лежит мертвой в этом доме; один из моих лучших друзей утонул в канале. Что мне остается говорить, думать или делать? Дорогой мой Скроп, если ты можешь урвать минуту, пожалуйста, приезжай ко мне, я нуждаюсь теперь в друге… Приезжай ко мне, Скроп, я почти в отчаянии; я остался один на свете; я имел только тебя и Г. и М.; я хотел бы наслаждаться присутствием тех, которые уцелели, пока это еще возможно…» В одном из примечаний к «Чайльд-Гарольду» он говорит: «В течение одного короткого месяца я потерял ту, которая дала мне жизнь, и большинство тех, которые делали эту жизнь сносной для меня». Не успел он еще опомниться от всех этих несчастий, как его уже постигло новое подобное же горе. «Я опять потрясен одной смертью, – писал он 11 октября родственнику своему Долласу, – я потерял одного, который в более счастливые времена был очень дорог мне. Но „я почти позабыл вкус печали“ и „столь много хлебнул ужасного“, что чувства мои наконец совершенно притупились и у меня не осталось ни одной слезы для такого удара, который пять лет тому назад склонил бы мою голову к самой земле. Выходит, как будто мне суждено в юности своей испытать величайшие несчастия, какие только возможны в этом возрасте. Мои друзья падают кругом меня, и я останусь одиноким деревом, прежде чем увяну. Другие могут в подобных случаях найти убежище в своих семействах; я же предоставлен только своим собственным печальным размышлениям…»

Во второй половине октября 1811 года Байрон оставил мрачный Ньюстедский замок и переселился в Лондон. После почти трехмесячной затворнической жизни молодой поэт здесь сразу очутился в многолюдном и веселом обществе. В короткое время он успел сделаться членом нескольких фешенебельных клубов и познакомиться с большинством выдающихся современных литераторов. К этому же времени относится и начало его дружбы со знаменитым ирландским поэтом Томасом Муром, будущим его биографом. 27 февраля 1812 года Байрон произнес свою первую речь в палате пэров в присутствии блестящей аристократической публики, собравшейся послушать молодого лорда, известного уже тогда своими поэтическими

произведениями и популярного своим недавним путешествием по Востоку. Речь вышла чрезвычайно удачной, и по окончании ее поздравления и комплименты посыпались на Байрона даже со стороны тех, кого он за два года до этого осмеял в своей сатире. Он сам сиял радостью от превзошедшего все его ожидания успеха. Зато следующие две речи его в верхней палате оказались уже гораздо менее удачными и были приняты довольно холодно. Крупным недостатком его как оратора было то, что он говорил слишком театрально и притом нараспев, что совершенно не нравится англичанам, не привыкшим к такого рода красноречию. Байрон уже после третьей речи своей понял, что он не создан для парламентской трибуны, и с тех пор его больше не видали в палате лордов. Два дня спустя после первой политической речи Байрона вышла в свет его бессмертная поэма «Чайльд-Гарольд». История этого произведения, сразу сделавшего имя автора великим, очень любопытна. Когда по возвращении в Англию один из друзей Байрона спросил его, что он успел написать во время своего двухлетнего странствования по Востоку, тот показал ему рукопись «Подражаний Горацию», уже вполне готовую к печати, и заявил при этом, что он уверен в громадном успехе, ожидавшем это произведение, так как он считает сатиру своим призванием. Когда друг поэта просмотрел рукопись этого сравнительно слабого сочинения, он был сильно разочарован и не мог удержаться от того, чтобы не спросить автора его, неужели столь долгое путешествие было так бедно поэтическими результатами. На это Байрон ответил, что у него еще имеется несколько коротких поэм и довольно большое количество строф, в которых описываются увиденные им страны. «Они (эти строфы) не стоят вашего внимания, – прибавил он, – но вы можете взять их, если хотите. Я их показывал только одному лицу, и тот нашел в них мало хорошего и очень много дурного. Я сам того же мнения и уверен, что и вы найдете их такими же». Именно эти строфы составляли рукопись первых двух песен «Чайльд-Гарольда». Вечером того же дня Байрон получил от своего друга, забравшего с собой рукопись «Чайльд-Гарольда», письмо, которое начиналось следующими словами: «Вы написали одну из самых прелестных поэм, какие мне когда-либо приходилось читать; я был так очарован „Чайльд-Гарольдом“, что не в силах был отложить его в сторону…» Но Байрон все-таки еще долго не решался печатать эту поэму раньше своих «Подражаний Горацию». А когда он уже согласился на это, друг его Доллас, первым открывший «Чайльд-Гарольда» и получивший от поэта поручение напечатать его, долго не мог найти издателя, который бы согласился на это. После многих поисков эту благодарную роль, наконец, взял на

себя книгопродавец Муррей, ставший впоследствии знаменитым как издатель и друг великого поэта. Во время печатания «Чайльд-Гарольда» Байрон, по своему обыкновению, делал каждый день все новые изменения в корректурах и прибавлял всё новые строфы, так что, когда поэма эта вышла, наконец, в свет, друзья поэта, видевшие первоначальную рукопись, с трудом узнали ее, – до такой степени она была изменена и улучшена во время прохождения через печать. Все первое издание поэмы было раскуплено в несколько дней. В течение 4 недель она выдержала целых семь изданий. Успех «Чайльд-Гарольда» был колоссальным. «Я проснулся в одно утро, – говорит Байрон в своем дневнике, – и нашел себя знаменитым». «Эффект, который произвела эта поэма при своем появлении, – говорит биограф великого поэта Томас Мур, – был по своей внезапности и силе подобен электрической искре. Слава поэта подымалась не постепенно, но, как сказочный дворец, выросла в одну ночь. Первое издание его произведения разошлось моментально, и имена „Чайльд-Гарольд“ и „Байрон“ были у всех на устах. Самые выдающиеся люди того времени, даже те, которых он обидел в своей сатире, спешили явиться к нему, чтобы лично выразить ему свое удивление и восторг. Стол его каждый день бывал завален сотнями писем, полных самых лестных отзывов со всех сторон, начиная от государственных людей и философов и кончая прекрасными незнакомками и царицами высшего света. Улица, на которой он жил, была с утра до вечера запружена массой блестящих экипажей, теснившихся около его дверей. Каких-нибудь несколько недель тому назад Байрон чувствовал себя в Лондоне, как в пустыне, а теперь он увидел все роскошные салоны высшего света широко открытыми перед собой, и среди толпы теснившихся в них знаменитостей нашел себя предметом самого величайшего удивления».

В лондонских литературных кружках тогда рассказывались самые чудесные истории о необыкновенно высоком гонораре, который автор «Чайльд-Гарольда» получил за свою поэму. Рассказывали, будто ему заплатили по гинее (около 9 рублей) за каждую строчку. Но на самом деле счастливый издатель уплатил за все произведение не более 6 тысяч рублей (т. е. около 2 рублей за строчку), да и этой суммой Байрон, несмотря на то, что дела его были тогда далеко не в цветущем состоянии, не счел возможным воспользоваться лично и подарил ее своему родственнику Долласу за его хлопоты по печатанию поэмы. В те времена писатели аристократического происхождения считали ниже своего достоинства брать гонорар за свои сочинения. Байрон, однако, впоследствии отказался от этого предрассудка и даже дошел до того, что торговался со своим издателем из-за

нескольких шиллингов (шиллинг равен 32 коп.).

Глава V. Восточные поэмы. Женитьба

В Байроне 1812 года, в этом 24-летнем красавце, легко и, при своей хромоте, даже грациозно выступавшем на паркетах лондонских великосветских салонов, с трудом можно было узнать некрасивого и неуклюжего школьника Байрона из Харроу. В молодом, но уже знаменитом поэте, гордо и самоуверенно смотревшем вокруг себя, свысока третировавшем мужчин и замечательно непринужденно, даже несколько покровительственно обращавшемся с женщинами, знакомые с трудом узнавали застенчивого, нелюдимого Байрона прежних времен. В творце «Чайльд-Гарольда», ставшем внезапно кумиром всего лондонского общества и, пожалуй, даже всей английской читающей публики, невозможно было узнать автора «Часов досуга», жестоко осмеянного шотландскими критиками.

Но каковы же были те, кто поклонялся тогда поэту, каково было то общество, в котором Байрон царил в 1812 году? «Это было время полного расцвета дендизма, – говорит профессор Эльзе, – который под высоким покровительством „первого джентльмена в Европе“[1] праздновал тогда свои оргии… Со времен Карла II не было еще такого нелепого поклонения моде и такой распущенности, какая господствовала тогда. Роскошные банкеты, балы и бессонные ночи, страсть к театру, азартные игры и делание долгов, любовные похождения, всеобщая испорченность женщин и самые безнравственные обольщения вместе со следовавшими за ними дуэлями, – таково было главное содержание жизни тогдашнего общества, точно так же как и Байрона, ставшего его жертвой…»

Успех молодого поэта среди женщин, несмотря на его полупрезрительное отношение к ним, был в это время колоссальным. Когда он являлся на какой-нибудь бал, ему буквально не бывало отбоя от них; они шли за ним толпами и чуть не открыто бросались ему на шею. Его забрасывали любовными письмами, ему назначали бесчисленное множество любовных свиданий, от него просто с ума сходили женщины. «Вообще, – говорит новейший биограф его, профессор Никольс, – можно сказать, что те женщины, которые сами не были писательницами, обожали Байрона, а те, которые написали или писали какие-нибудь книги, большею частью относились к нему с недоверием, не любили его и в своих произведениях обыкновенно читали ему нотации». Байрон не принадлежал к тем натурам,

которые могут легко устоять против соблазнов. Он очень редко отказывался от предстоящих ему удовольствий и в течение своего пятилетнего пребывания в Лондоне, со времени возвращения своего из Греции вплоть до окончательного отъезда из Англии, имел множество самых разнообразных романтических похождений. Но многочисленные романы его, как в это время, так и впоследствии, редко бывали простыми интрижками. В них почти всегда бывала и некоторая доля искреннего увлечения, по крайней мере, с его стороны. Затем, по его собственному признанию, которому нет оснований не верить, он никогда не играл роли соблазнителя женщин; он никогда не был первой причиной падения какой-нибудь женщины. Вообще, Байрон гораздо чаще сам становился жертвой женщин, чем женщины – его жертвами. Прекрасным примером последнего является его роман с леди Каролиной Ламб, наделавший столько шуму в свое время. Леди Ламб была общепризнанной царицей высшего света в то время, когда Байрон стал его идолом. Это была легкомысленная, капризная, чрезвычайно тщеславная, но в то же время и необыкновенно очаровательная молодая женщина. Когда она в первый раз прочла «Чайльд-Гарольда» и узнала о его колоссальном успехе, то немедленно решила во что бы то ни стало сделать автора этой поэмы одним из многочисленных своих обожателей. Это ей, конечно, легко удалось, хотя и не так, как она хотела. Байрон стал горячим поклонником ее после первого же свидания с ней и начал бывать у нее в доме каждый день. Весь Лондон заговорил о дружбе его с леди Ламб. Последняя нисколько не скрывала своих отношений с поэтом и во время частых встреч с ним на балах так неистово и громко обнаруживала свои чувства к нему, что часто приводила его в большое смущение. Муж этой дамы, человек высокопоставленный и очень уважаемый в обществе, относился к этому роману своей любимой жены с полнейшим равнодушием: он был убежден в том, что, при всей ее легкомысленности, чести его все-таки не угрожала никакая серьезная опасность. В последнем, впрочем, все были уверены: все знали, что отношения поэта с очаровательной леди Ламб имели чисто платонический характер. Так продолжалось несколько месяцев. Байрон, наконец, начал тяготиться этим романом, который был сопряжен с массой беспокойств и неприятностей вследствие крайнего легкомыслия и бешеного характера леди Ламб. Он стал бывать у нее реже и избегать встреч с ней. Тогда, оскорбленная в своем тщеславии и в своих чувствах, леди Каролина, в это время уже не шутя влюбленная в поэта, стала упорно преследовать его. Она отправлялась во все места, где надеялась увидеть Байрона. Когда

Байрон бывал на каком-нибудь балу, на который ее не приглашали, она обыкновенно ожидала его выхода на улице, иногда под дождем, перед домом, где он проводил вечер. Возвращаясь домой поздно ночью по Сент-Джеймскому парку, Байрон не раз наталкивался на нее, ходившую взад и вперед по аллее в ожидании его. Она раз даже явилась к нему на квартиру, переодетая в мужское платье: предлагала ему увезти ее, бежать с ней и, наконец, дошла до того, что на одном балу в припадке отчаяния хотела выброситься из окна. Но все это только еще более охлаждало к ней Байрона; он стал уже просто бояться ее. Когда же она узнала спустя год после решительного с ним объяснения, что он женился и притом на ее же кузине, – ее бешеная любовь к нему сразу перешла в такую же бешеную ненависть. Она принялась немедленно писать роман, в котором представила Байрона и его отношение к ней в самом мрачном свете. Этот роман, названный ею «Гленарвон», настиг Байрона тогда, когда он был в изгнании, т. е. когда чаша оскорблений, нанесенных ему его соотечественниками, была уже и без того переполнена…

Но чему же, главным образом, был обязан Байрон своим колоссальным успехом у женщин; что более всего привлекало и очаровывало их в нем? Это был не только высокий титул его, громкая слава и необыкновенная прелесть его поэзии. Это была преимущественно чудная его красота; это была полная таинственности меланхолия на его божественно-прекрасном лице и небесный огонь гения в его больших голубых глазах. А между тем этот же самый Байрон за каких-нибудь пять лет до того был почти безобразен. Его почти уродливая полнота, необыкновенно толстое лицо и заплывшие жиром глаза вызывали смех и отчасти даже отвращение. Он был подобно своей матери предрасположен от природы к толщине, и это стало удивительно быстро обнаруживаться, как только он перестал расти. Когда ему было всего 19 лет, он при своем сравнительно небольшом росте (2 аршина 7 вершков) уже весил около 5 с половиной пудов. Ему было бы, конечно, нетрудно перестать толстеть или, по крайней мере, в значительной степени ослабить этот процесс, если бы только он много ходил. Но, к несчастью, хромота делала его совершенно неспособным к долгим путешествиям пешком. При таких условиях ему предстояло через несколько лет превратиться в чрезвычайно безобразное существо. Юный Байрон был слишком тщеславен и чересчур интересовался мнениями о себе представительниц прекрасного пола, чтобы относиться к подобной перспективе без тайного ужаса. Он решил поэтому противодействовать природе всеми средствами, остававшимися в

его распоряжении. Поэт стал лечить себя от толщины прежде всего голодом; он начал питаться почти исключительно одними бисквитами, причем съедал их всего по несколько штук в день; отказался навсегда от мяса, вина и всяких других спиртных и жирообразующих напитков; стал принимать эпсомскую соль и даже раствор опиума; наконец, брал часто горячие ванны. Таким путем он в несколько недель довел себя до нормальной полноты, а продолжая ту же диету далее, был в состоянии сохранить эту нормальную полноту в течение всей своей последующей жизни. Прекрасные результаты такого лечения, полученные им в сравнительно короткое время, приводили Байрона в восторг. «С тех пор, как мы виделись с вами в последний раз, – писал он в апреле 1807 года Пиготу, – я уменьшил свой вес путем сильных физических упражнений, приема большого количества всякого рода лекарств и частого пользования горячими ваннами с 202 фунтов на 175 фунтов. Я потерял, таким образом, целых 27 фунтов. Браво!» Когда Байрон после нескольких недель энергичного лечения явился в Кембридж, никто его не узнавал там – до такой степени он изменился. «Я был обязан, – писал он мисс Пигот 30 июня того же года, – говорить всякому свое имя, так как никто не мог узнать ни моего лица, ни моей фигуры». Новый образ жизни Байрона повлиял не только на его тело, но и на его дух: «Голод и возбудительные средства, – говорит его биограф Джефферсон, – повлияли на его нервную систему, и он стал гением. Подвергая себя голоду сначала из тщеславия, поэт впоследствии продолжал подвергать себя ему уже из-за тех высоких духовных наслаждений, которые этот образ жизни сделал для него доступными». Влияние нового режима на глаза и голос Байрона было, по свидетельству всех биографов его, поразительным. «Никто, – говорит один из них, – не обладал глазами более ясными и голосом более чистым, чем он». Но хроническое голодание и употребление таких возбуждающих средств, как эпсомская соль и опиум, имело не одно только хорошее влияние на поэта; этот режим незаметно для него самого постепенно все более и более расстраивал его органы пищеварения и в самом корне подтачивал его здоровье. Его жизнь была подобна жизни тех, кто страдает алкоголизмом. Это было яркое, ослепительное, но в то же время и страшно быстрое, горение. Этот ненормальный образ жизни в конце концов до такой степени ослабил его крепкий от природы организм, что он уже не был более способен выдержать той болезни, которую при других условиях мог бы легко вынести и которая свела его преждевременно в могилу. Наконец, диета, кроме высоких наслаждений, сделавшихся, по мнению его биографа, для него

доступными, причиняла ему часто и невыносимые страдания. Поэт почти всегда испытывал голод, и для успокоения желудка принужден был постоянно жевать табак. После долгих периодов голода и воздержания он иногда, когда ему уже становилось невтерпеж, в один прием съедал огромное количество тяжелой и грубой пищи, после чего немедленно следовало страшное расстройство желудка и затем опять долгое голодание. Но стоило только ему в течение более или менее продолжительного времени питаться как следует, – он опять начинал быстро толстеть и терять свою красоту.

Светская жизнь, которую Байрон начал вести после появления его «Чайльд-Гарольда», нисколько не мешала ему энергично заниматься творческой деятельностью. Ночи или, вернее, остатки ночей, – так как большую часть каждой ночи он, обыкновенно, проводил на балах или в театрах, – он по-прежнему посвящал своей музе. В мае 1813 года появился в печати прелестный отрывок из его поэмы «Гяур». В течение нескольких месяцев это произведение выдержало целых пять изданий. Каждое новое издание настолько отличалось от предшествовавшего как по размерам, так и по отделке, что на него смело можно было смотреть как на совершенно новое произведение. Фабула этого первоначального отрывка основана на следующем эпизоде, случившемся с Байроном во время его пребывания в Афинах. Возвращаясь однажды с прогулки, он встретил там оригинальную процессию: несколько турецких солдат несли зашитую в мешке мусульманскую девушку, для того чтобы утопить ее по приказу губернатора в море за ее противозаконную связь с каким-то христианином (гяуром). Как только Байрон узнал, в чем дело, он немедленно приказал янычарам освободить свою жертву, угрожая им в случае неповиновения употребить силу. Те испугались и согласились отправиться вместе с ним к губернатору. По прибытии туда Байрону удалось отчасти путем подкупа, отчасти путем угроз добиться от паши освобождения провинившейся девушки с тем условием, чтобы она немедленно уехала из Греции. Из дома губернатора он проводил ее в какой-то греческий монастырь и оттуда в ту же ночь отправил ее в Фивы, где она нашла себе вполне безопасное убежище. Когда «Гяур» появился, читатели Байрона, привыкшие к автобиографическому характеру его произведений, были сначала убеждены в том, что в герое этого рассказа он изобразил самого себя и что именно он и был тот самый христианин, из-за которого едва не погибла молодая турчанка. Уверенность публики была так велика, что даже печатное опровержение со стороны Байрона не могло совершенно

уничтожить заблуждения.

2 декабря 1813 года, т. е. полгода спустя после выхода первого издания «Гяура», появилась «Абидосская невеста», вторая восточная поэма Байрона, Это прекрасное произведение было написано великим поэтом всего в четыре ночи. Во время печатания оно было увеличено на 200 строк; прелестные вступительные строки «Знаешь ли тот край…», как будто заимствованные из «Миньоны» Гете, были вставлены уже в корректуре поэмы. В течение одного месяца «Абидосской невесты» было продано более 6 тысяч экземпляров. Не успела еще английская читающая публика достаточно насладиться этой поэмой, как Байрон уже поднес ей новую и самую лучшую из всей его серии восточных поэм. Это был «Корсар», появившийся 1 января 1814 года, т. е. всего месяц спустя после появления «Абидосской невесты». В первый же день его было продано 14 тысяч экземпляров. «Корсар» был написан Байроном в течение десяти ночей.

Но вместе с необыкновенным восторгом это прелестное произведение вызвало и необыкновенное негодование в некоторой части английского общества. Консервативная пресса с яростью набросилась на Байрона за те две строфы, которые были предпосланы «Корсару» и в которых он, выражая свое сочувствие страданиям принцессы Уэльской, косвенно оскорблял принца-регента, бывшего причиной этих страданий. Выходка Байрона была, даже по мнению тех, кто соглашался с его взглядом на регента, большой бестактностью. Друзья его также осуждали эти строфы, так как из-за них он без всякой нужды вооружал против себя значительную часть английского общества, которое и без того уже начинало смотреть на него косо за его религиозный скептицизм. Нападение его на регента было тем более неуместно, что в это время его личное отношение к нему не было враждебным. Всего за несколько месяцев до выхода «Корсара» он был представлен регенту на одном балу и остался очень доволен беседой с принцем и личным отзывом последнего о его «Чайльд-Гарольде». Он даже был приглашен бывать при дворе. Мало того, незадолго до появления «Корсара» поэт даже собирался раз отправиться на придворный бал и не сделал этого тогда только потому, что бал был по какой-то причине отложен. Но Байрон, несмотря на все это, упорно отказывался убрать злополучные стихи из последующих изданий «Корсара». На все нападки в печати он отвечал гордым и презрительным молчанием. «Ничто в мире, – писал он в самый разгар этих нападок одному из своих друзей, – не заставит меня произнести ни одного слова примирения перед каким бы то ни было существом. Я буду

переносить все, что могу, а что невозможно будет перенести, тому я буду противиться. Самое худшее, что они могут сделать мне, – это исключить меня из своего общества. Но я никогда не заискивал перед этим обществом и никогда не испытывал особенного наслаждения от пребывания в нем; наконец, ведь существует ещё целый мир вне этого общества…»

Так началась знаменитая борьба Байрона с английским обществом, борьба, во время которой он никогда, ни на один миг, не чувствовал себя побежденным, из которой он в конце концов вышел победителем, но которая тем не менее нанесла неизлечимые раны его душе и окончательно разбила его жизнь. Черные тучи уже начинали собираться на недавно еще совершенно ясном небе поэта… Под влиянием нападок в печати Байрон принял в это время решение никогда больше не писать ничего и прекратить печатание уже написанного им.

29 апреля этого же года он послал своему издателю чек на всю сумму, которая была получена им от него за все напечатанные произведения, и просил возвратить ему право на издание их. Это странное решение поэт, однако, так же быстро отменил, как и принял. Перестать писать для Байрона означало то же самое, что перестать существовать, а потому неудивительно, что уже 1 мая, после одного убедительного письма от испуганного издателя, он разрешил ему уничтожить посланный чек и продолжать пользоваться своими правами. А через два месяца после этого решения Байрон уже отправлял в печать новую поэму «Лара», написанную им за четыре ночи, в то время, когда он раздевался по возвращении с балов и маскарадов. Эта поэма, отличающаяся не меньшими достоинствами, чем предшествовавшие ей, имела и не меньший, чем они, успех.

К тому же периоду поэтической деятельности Байрона следует отнести напечатанные им летом и осенью 1815 года прекрасные поэмы «Осада Коринфа» и «Паризина». О восточных поэмах великого поэта новейший английский критик его, профессор Никольс, отзывается следующим образом: «Все они обнаруживают такую власть поэта над языком, такое богатство рифмы и такую мелодичность стиха, что после появления их даже Мур и Скотт почувствовали себя побежденными».

В то время как поэма «Лара» печаталась, ее автор был накануне крупного переворота в своей жизни. Байрон собирался тогда сделать шаг, который оказался впоследствии роковым для его счастья и спокойствия. 20 сентября 1814 года он писал другу своему Томасу Муру следующее: «Мой дорогой Мур, я собираюсь жениться, – вернее, мое предложение принято, а все остальное, надо надеяться, последует… Эта леди – мисс Мильбанк; я уже

получил приглашение от ее отца явиться к ним в качестве жениха; но это для меня невозможно будет до тех пор, пока я не покончу с некоторыми делами в Лондоне и не приобрету себе синего сюртука… Говорят, что она богатая наследница, но относительно этого я ничего достоверного не знаю. Я знаю только, что она имеет способности и прекрасные достоинства, и ты, наверное, не откажешь ей и в рассудительности, если узнаешь, что она приняла мое предложение после того как отказала шести своим обожателям… Я, разумеется, должен совершенно исправиться, и исправиться серьезно, потому что если я сумею сделать ее счастливой, то этим самым упрочу и свое собственное счастье. Она такая хорошая особа, что… что – одним словом, – что я сам хотел бы быть лучше…»

Мисс Мильбанк (позднее жена Байрона). ***С миниатюры Чарльза Хейтера.***

Байрон познакомился с мисс Мильбанк еще в 1812 году, во время апогея своей славы и популярности. Она обратила на себя тогда его внимание не потому, чтобы была особенно красива, знатна или богата. За молодым поэтом тогда ухаживали женщины несравненно красивее, очаровательнее, знатнее и богаче ее. Она поразила его тем, что представляла совершенный контраст со всеми другими окружавшими ее женщинами. В то время как все блестящие представительницы высшего света толпой ходили за ним и открыто поклонялись ему не столько за гений его, сколько из-за его необыкновенной красоты, она одна стояла в отдалении, и в ее взглядах Байрон читал одновременно и удивление к нему как к поэту, и жалость как к человеку. Ее спокойный, серьезный вид нравился ему, и он предполагал, что с женщиной подобного темперамента он, бурный и неукротимый, мог бы быть счастливым. Но на свое предложение поэт получил отказ: он ей нравился как гений, но она его боялась как человека. Отказ, впрочем, был сделан в самой очаровательной форме, и они после этого продолжали вести между собой очень дружескую переписку. Прошло два года со времени первого предложения. Поэт начал уже чувствовать усталость и отчасти даже отвращение к тому образу жизни, который он вел со времени своего возвращения из Греции. Он начал мечтать о тихом и прочном счастии семейной жизни.

Будучи в таком настроении, Байрон осенью 1814 года решил снова попытать счастья и послал мисс Мильбанк необыкновенно очаровательное письмо с новым предложением. На этот раз он получил уже благоприятный ответ. Принимая второе предложение поэта, мисс Мильбанк никоим образом не могла руководствоваться при этом тем соображением, что Байрон как человек исправился за последние два года: она прекрасно знала, что он был еще очень далек от этого. Остается, стало быть, предположить, что она, соглашаясь сделаться его женой, руководилась в данном случае отчасти тщеславием, отчасти же надеждой на то, что сумеет его исправить. Ни с ее стороны, ни со стороны Байрона это не был брак по страсти. Они встречались в последние два года крайне редко, а второе свое предложение Байрон послал мисс Мильбанк после того, как он не видел ее целых 10 месяцев. Они нравились друг другу, но не были влюблены друг в друга. Байрон ожидал от этого брака значительного поворота к лучшему в своей жизни, а добродетельная мисс Мильбанк надеялась быть счастливой с поэтом и своим благотворным влиянием обратить его на истинный путь… Как можно было заранее предвидеть и как некоторые друзья поэта действительно предвидели, брак при

таких условиях и при совершенной противоположности характеров будущих супругов мог окончиться только обоюдным разочарованием в очень близком будущем.

В конце декабря 1814 года Байрон в сопровождении своего друга Гобгауза отправился в имение сэра Ральфа Мильбанка, отца своей невесты, в доме которого 2 января 1815 года и была скромно отпразднована его свадьба. В тот день, когда произошло венчание, Байрон проснулся в необыкновенно меланхолическом настроении духа. Поэт одиноко гулял все утро по парку до тех пор, пока его не позвали к брачной церемонии, на которой он первый раз в этот день увидел свою невесту. Он опустился на колени и машинально повторял слова молитвы за пастором; глаза его в это время застилал какой-то туман, а мысли витали совсем в другом месте. Он несколько пришел в себя только тогда, когда все присутствовавшие уже начали поздравлять его. Усаживая в тот же день свою молодую жену в карету, для того чтобы отправиться вместе с ней в другое имение сэра Мильбанка, где они намеревались провести свой медовый месяц, Байрон по рассеянности назвал ее «мисс Мильбанк». Эта ошибка молодого супруга была сочтена присутствовавшими за плохое предзнаменование. Но начало брачной жизни поэта было все-таки очень счастливым. Месяц спустя после свадьбы он писал Муру следующее: «Моя супруга и я живем в замечательном согласии. Свифт говорит, что никакой мудрец никогда не был женат; но для дурака, я думаю, брачная жизнь есть самое сладостное из всех возможных существований. Я все еще того мнения, что жениться следует на определенный срок; но я также глубоко уверен и в том, что я бы еще раз возобновил свой брачный контракт по истечении его срока, если бы даже новый пришлось заключить на целых 99 лет».

В начале марта Байрон переехал с женой в Лондон. Мир и согласие продолжали царить между молодыми супругами еще несколько месяцев. Но уже осенью этого года между поэтом и его женой начались недоразумения. Байрон стал мало-помалу выходить из того состояния душевного равновесия, в которое его привела женитьба. Этому в особенности способствовало ухудшавшееся с каждым днем положение его финансовых дел. Долги его продолжали расти, и кредиторы становились нетерпеливее с каждым днем. В течение первых месяцев его пребывания в Лондоне в его квартире два раза описывали имущество за долги. Байрону было и больно, и стыдно за свои дела, и он чувствовал себя теперь постоянно расстроенным и раздраженным. Настроение его ухудшалось с каждым днем, и это, конечно, отражалось на его отношении к жене. Не будучи в

состоянии сдерживать себя, он во время припадков сильного, часто бешеного гнева обращался с ней грубо, оскорбительно, иногда даже жестоко. Отношения между супругами становились с каждым днем все более и более натянутыми. Байрон, наконец, почти перестал говорить с женой. В его письмах того времени слышится постоянно глубокая, хотя и скрытая меланхолия. 10 декабря у него родилась дочка, которую он назвал Августой-Адой. По случаю родов к нему приехала сестра его и прожила у него несколько недель. Но ни рождение дочери, ни присутствие любимой обоими супругами сестры не могли предотвратить быстро приближавшийся кризис.

Дочь Байрона Ада. ***Рисунок Ф. Стоуна, гравюра Мота***.

Дочь Байрона Ада, графиня Лавлейс.

Байрон со своей любимой собакой.

В середине января 1816 года леди Байрон уехала с ребенком в гости к своему отцу. За ней должен был последовать туда через некоторое время и ее супруг. Они расстались в прекрасных отношениях, и с пути леди Байрон даже послала мужу чрезвычайно нежное письмо. Байрон ничего не подозревал, а между тем конец был уже близок. Дело в том, что жена объясняла все его неистовства и странное отношение к ней душевным расстройством. Приехав к своим родным, она немедленно сообщила им свои подозрения, и те решили, что необходимо отправиться кому-нибудь из них в Лондон для того, чтобы выяснить это. Когда же столичные врачи решительно заявили, что поэт не страдает никаким умственным расстройством, отношение леди Байрон к своему супругу сразу переменилось. Она не считала возможным извинять в здоровом Байроне то, что до тех пор объясняла его болезнью и лишь поэтому прощала. Она решила не возвращаться к нему больше и поручила отцу своему

известить его об этом. Это несчастное письмо от своего тестя Байрон получил 2 февраля. Оно поразило его как громом, – таким оно было неожиданным и жестоким. В этом письме не только сообщалось решение жены больше не возвращаться к нему, но уже шла речь об окончательном разводе.

Леди Байрон. ***Рисунок Ньютона, гравюра Мота.***

Как глубоко печальны и в то же время благородны следующие строчки поэта к Муру в письме от 8 марта 1816 года: «Вина, даже несчастье, заключались не в моем выборе, так как я не думаю – и должен заявить это в самом начале нашего несчастного разрыва, – чтобы когда-нибудь существовала женщина лучше, светлее, добрее и симпатичнее леди Байрон. Я никогда не мог и теперь не могу упрекнуть ее в чем-нибудь по отношению к себе. Если есть какая-нибудь вина – она моя, и если я не могу искупить ее, то должен терпеть за нее… Дела мои находились в ужасном состоянии; здоровье мое было в значительной степени расстроено и душевное настроение в последнее время ненормально. Таковы причины (я не называю их оправданиями), которые часто доводили меня до крайности и делали жизнь со мной неприятной… Но я все-таки думаю, что если бы мне дали

возможность и если бы ко мне относились более терпимо, я бы мог все-таки со временем исправиться. Но на это, очевидно, нельзя надеяться, а потому и нечего говорить больше об этом…»

Если бы к нему относились более терпимо! Но на это добродетельная и безукоризненная супруга его, вышедшая замуж за него с тем, чтобы спасти его душу от угрожавшей ей гибели, оказалась совершенно неспособной! В трогательном стихотворении «Прости, и если навсегда…», вылившемся из души поэта некоторое время спустя после его развода с женой, единственное, в чем он упрекает леди Байрон, это – в бездушной нетерпимости. Это стихотворение он писал, обливаясь буквально слезами в момент мучительной тоски по безвозвратно погибшему семейному своему счастью…

Семейное несчастье Байрона послужило многочисленным врагам прекрасным предлогом для новой атаки против него. Теперь уже громко ругали поэта даже те, кто до того не осмеливался открыто выступить против него. Молчание леди Байрон насчет причин развода подало повод к многочисленным и нелепейшим слухам. Рассказывали и писали, что поэт подвергал жену свою самым бесчеловечным жестокостям; что он будто бы женился на ней только для того, чтобы отомстить ей за ее первый отказ ему; что он пугал ее пистолетными выстрелами в то время, когда она лежала в постели; наконец, что он будто бы при жене принимал у себя в доме свою любовницу, какую-то актрису, и т. д. Во всем этом не было ни капли правды, но всему этому очень охотно верили все те, которые всего лишь за три года до того чуть ли не обожали его.

«Тогда, – говорит профессор Никольс, – произошел тот взрыв британской добродетели, который так хорошо описан Маколеем и над которым так жестоко смеялись на континенте. Байрона обвинили во всех возможных и невозможных пороках. Его сравнивали с Сарданапалом, Нероном, Тиберием, герцогом Орлеанским, Гелиогабалом, Сатаной, со всеми гнусными личностями, упомянутыми в священной и светских историях. Все его добрые дела поносились, явно бескорыстные поступки ложно истолковывались. Его предостерегали не показываться ни в театре, иначе его освищут, ни в парламенте, если он не хочет, чтобы его там оскорбили. За день до его отъезда один из друзей заявил ему, что он боится, как бы толпа, которая соберется около экипажа, не подвергла его насилию…» Салоны высшего света так же внезапно закрылись для поэта, как за три года до того открывались перед ним. «Мы не знаем, – говорит знаменитый английский историк, лорд Маколей, – зрелища более комического, чем британская публика во время одного из ее

периодических припадков добродетельности… Байрон был тогда виновен в том преступлении, за которое обыкновенно наказывают более жестоко, чем за все другие. Он удостоился до этого слишком большой славы, он вызвал слишком горячие восторги, и публика, со своей обычной справедливостью, наказывала его за свою же собственную глупость».

Байрон не отвечал на нападки, не опровергал ложных и оскорбительных для него слухов. Он предпочел и на этот раз встретить бурю несправедливого общественного негодования гордым и презрительным молчанием. Но оставаться дольше среди своих соотечественников после этого для него уже стало невозможным, и великий поэт решил вторично покинуть свою родину, теперь уже навсегда.

Глава VI. В добровольном изгнании

Единственное лицо, с которым Байрону жаль было расставаться, покидая родину, была сестра его Августа.

Сестра Байрона Августа Ли. ***Рисунок Вэйджмэна.***

Байрон до самой своей смерти вел нежную переписку с нею. Сестра служила для него посредницей во всех тех случаях, когда ему приходилось обращаться за чем-нибудь к леди Байрон, и от нее же обыкновенно он узнавал о своей маленькой дочери Аде, о которой всегда расспрашивал с самой трогательной нежностью. Необыкновенно горячая любовь Байрона к Августе дала повод вдове его, уже много лет спустя после смерти мужа, обвинить поэта в отвратительном преступлении, а именно в противоестественных отношениях со своей сестрой. Когда книга, содержавшая это обвинение и принадлежавшая перу госпожи

Бичер Стоу, подруги леди Байрон и знаменитого автора «Хижины дяди Тома», появилась в 1869 году в Америке, негодование как в Новом Свете, так и в Старом было ужасным. Но на этот раз негодовали уже не против давно умершего поэта, а против недостойного поступка пережившей его жены. Слабость и неосновательность всех аргументов, приведенных подругой леди Байрон, конечно, со слов последней, в подтверждение этого обвинения, была для всех очевидной. Кроме необыкновенной любви поэта к своей сестре, автор книги намекает на какое-то тайное преступление, глухо упоминаемое будто бы в «Ларе» и «Манфреде». Но лучшим доказательством, что это обвинение ложно и что оно было только продуктом ненормального состояния, в котором леди Байрон находилась в последние годы своей жизни, является то, что даже после развода поэта с женой отношения последней с его сестрой продолжали быть необыкновенно дружественными и оставались такими в продолжение нескольких лет после его смерти. Разрыв между леди Байрон и Августой произошел лишь в 1830 году, т. е. целых шесть лет спустя после смерти поэта, да и тогда причина его не имела никакого отношения к возникшему через 39 лет обвинению.

Байрон простился с сестрой 16 апреля 1816 года, а 25-го он уже был на пути в Бельгию. 26 апреля поэт прибыл в Остенде, откуда отправился в Брюссель уже в собственном экипаже. Особая карета везла трех слуг и его багаж. Во время своего пребывания в Бельгии Байрон посетил место, на котором незадолго до того произошла битва при Ватерлоо, и написал знаменитые строфы, начинающиеся словами: «Stop, for thy tread is on an empire's dust!» («Остановись, ты попираешь своими ногами прах империи!»)

Из Бельгии он отправился вверх по Рейну до Базеля, а оттуда через Берн и Лозанну в Женеву, где застал другого знаменитого английского поэта Шелли, который так же, как и он, был в открытой и непримиримой войне со своими соотечественниками. Нелепые слухи по поводу семейного скандала Байрона уже успели в это время достигнуть Женевы, и, когда поэт прибыл туда, он уже нашел все местное общество вооруженным против себя. Но враждебное отношение женевской аристократии не особенно беспокоило Байрона. Он старался во время своего пребывания в Швейцарии жить по возможности вдали от всякого общества и избегал как огня всякой встречи со своими соотечественниками. Последние, однако, не совсем избегали его, несмотря на то, что видели в нем какое-то нравственное чудовище. Английские леди нередко падали в обморок, когда нечаянно сталкивались где-нибудь с Байроном, а мужья их в

ужасе отворачивались, встречая своего великого соотечественника. Но и те, и другие никогда не упускали удобного случая посмотреть на поэта хотя бы через окно или в лорнет, уже не говоря о том, что они интересовались всякой мелочью из частной жизни его, разумеется, главным образом, для того, чтобы иметь возможность еще больше на него клеветать.

Чтобы избавиться от назойливого любопытства своих соотечественников, Байрон вынужден был очень скоро покинуть отель и поселиться на отдельной вилле. Но и это не помогло. Хозяин отеля, не желая лишать своих знатных жильцов удовольствия глазеть на поэта даже после того, как тот уже выбрался от него, снабдил их специальными зрительными трубами, в которые они могли, сидя на балконе отеля, видеть все, что происходило на вилле Байрона. Поэт тогда удалился совсем из окрестностей отеля и поселился на вилле Диодати, защищенной от взоров любопытных густыми деревьями. Рядом с ним поселился со своим семейством и Шелли. У последнего в это время жила мисс Клер, сестра жены его по матери. Эта девушка была возлюбленной Байрона. Он сблизился с ней еще в Англии, незадолго до своего отъезда оттуда, и для него-то она и приехала в Женеву. Плодом этой, между прочим, очень непродолжительной любви поэта была его дочка Аллегра, родившаяся в начале 1817 года в Лондоне. С тех пор как Байрон поселился на вилле Диодати, он стал очень часто бывать у Шелли и проводил почти все свое свободное время в обществе приятеля-поэта. Они вместе предпринимали ежедневно прогулки по озеру и совершали экскурсии по окрестностям Женевы. Во время прогулок своих поэты беседовали о поэзии и спорили о разных философских вопросах. Пантеизм Шелли произвел тогда довольно сильное впечатление на Байрона, что отразилось отчасти на его «Манфреде»; но это впечатление было непродолжительным. Поэты, между прочим, посетили вместе Шильонский замок, ставший с тех пор знаменитым.

Шильонский замок 1820-х годах. ***Рисунок Гардинга, гравюра Э. Финдена***.

На обратном пути из Шильона их застигла гроза, и они должны были оставаться целых два дня в деревне Уши из-за непрекращавшегося ливня. Эти два дня Байрон употребил на то, чтобы написать «Шильонского узника» и окончить 3-ю песню «Чайльд-Гарольда», начатую еще во время путешествия по Рейну. Во время своего пребывания в Швейцарии поэт посетил знаменитую госпожу Сталь на ее великолепной вилле, расположенной на берегах Лемана, в деревне Коппе. Он был хорошо знаком с ней еще в Лондоне. Когда знаменитая француженка прочла в первый раз его трогательное стихотворение «Прости», написанное им некоторое время спустя после своего развода с женой, она воскликнула: «Как бы мне хотелось быть на месте леди Байрон!» Теперь, когда г-жа Сталь встретилась с ним в Швейцарии, она настойчиво уговаривала его, чтобы он написал примирительное письмо к своей жене. Байрон долго не соглашался на это, но в конце концов уступил ее увещеваниям. Ответом на это предложение мира был сухой и лаконичный отказ, глубоко оскорбивший поэта, после чего его отношение к жене сразу переменилось, и он в своих последующих произведениях уже более не считал нужным щадить ее.

В конце августа Шелли с женой и мисс Клер уехали в Англию, и Байрон остался в Женеве один. Но одиночество его было непродолжительным. Уже в начале сентября он имел

удовольствие обнимать своих старых товарищей и друзей Дэвиса и Гобгауза, привезших ему самые свежие новости с родины. В конце сентября поэт вместе с Гобгаузом совершил тринадцатидневное путешествие по Бернским Альпам. Немедленно после этого он, под свежим еще впечатлением, которое на него произвела величественная природа Швейцарии, начал создавать своего великого «Манфреда». В течение лета, проведенного Байроном в Швейцарии, он очень много работал. Кроме 3-й части «Чайльд-Гарольда», «Шильонского узника» и начала «Манфреда», поэт написал в это время еще «Сон», «Тьму», «Озеро Леман», «Прометея» и «Стансы к Августе». В начале октября он оставил Швейцарию и в сопровождении своего друга Гобгауза отправился в Италию. Посетив Милан и Верону, поэт в начале ноября прибыл в Венецию, где решил поселиться надолго.

Байрон во время пребывания в Венеции в 1818 году. *Рисунок Харло*

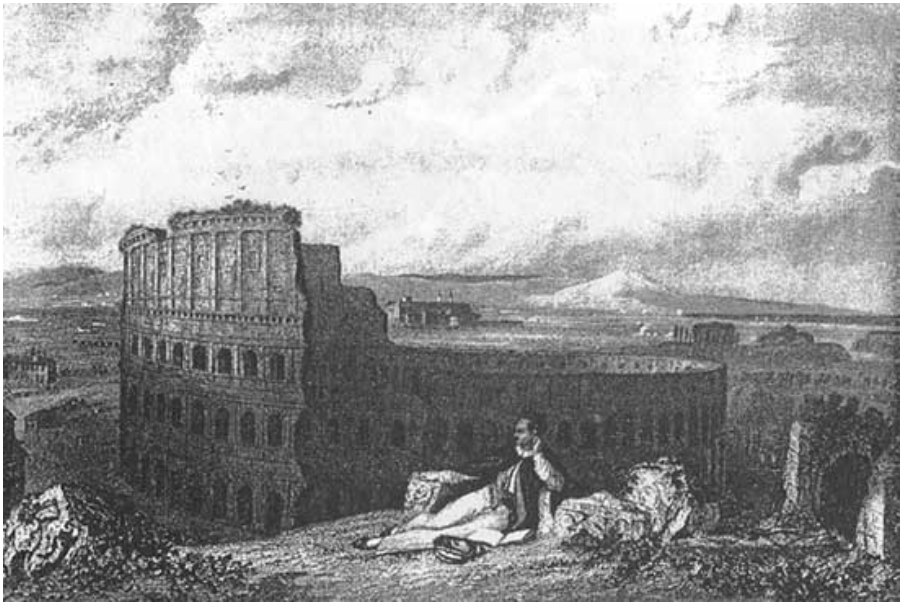
В первом письме его из этого города, написанном всего несколько дней спустя по прибытии туда, мы читаем между

прочим следующее: "…Кроме того, я влюбился, а это есть самое лучшее или самое худшее, что я мог сделать. Я имею чрезвычайно хорошую квартиру в доме одного «Венецианского купца», который всегда занят своими делами и имеет 22-летнюю жену по имени Марианна, которая своей внешностью очень напоминает антилопу. Она имеет большие, черные, восточные глаза с тем особенным выражением, которое редко встречается у европейских женщин…»

Таков был дебют Байрона в Венеции. В письме к своему издателю от 2 января 1817 года поэт следующим образом описывал нравы, господствовавшие тогда в городе «каналов и гондол»: «Состояние нравов здесь почти то же, какое было во времена дожей. Женщина считается добродетельной, если она ограничивается своим мужем и только одним любовником; те, которые имеют двух, трех или более любовников, считаются несколько *ветреными*… Чрезвычайно трудно доказать здешней женщине, что она поступает не так, как следует, имея amoroso (любовника). На это смотрят как на грех только тогда, когда оно скрывается или когда число любовников больше одного…»

При таком состоянии местных нравов неудивительно, что прием, сделанный поэту в Венеции, нисколько не походил на женевский. Аристократические салоны здесь сразу открылись перед английским лордом и поэтом, который очень скоро даже стал украшением местного общества. Об образе жизни Байрона в первые месяцы пребывания в Венеции мы читаем в письме его к Муру от 24 декабря 1816 года следующее: «Я веду здесь очень регулярную жизнь. По утрам отправляюсь на своей гондоле в монастырь Св. Лазаря, где беседую с армянскими монахами и помогаю им в составлении армяно-английской грамматики. По вечерам занимаюсь одним из многих видов безделья: бываю в театре или на каком-нибудь рауте. Вчерашний вечер я провел на рауте у губернатора; присутствовали, конечно, все сливки здешнего общества…» В карнавале 1817 года Байрон принимал очень деятельное участие, и следствием было то, что он по окончании празднества от крайнего истощения заболел свирепствовавшей тогда в Венеции болотной лихорадкой. Во время болезни за ним ухаживала его возлюбленная Марианна; от врачей и лекарств он упорно отказывался, и этому обстоятельству приписывал потом свое выздоровление. Едва оправившись от болезни, поэт предпринял путешествие в Рим, на пути посетил Феррару, где вдохновленный видом тюрьмы, в которой когда-то сидел великий итальянский поэт, написал «Жалобу Тассо». После Феррары знаменитый турист посетил Флоренцию, очаровавшую его своими роскошными картинными галереями. В Рим он

прибыл в начале мая.



Байрон, созерцающий развалины Рима. ***Рисунок В. Вестоля, гравюра Вильмара.***

Проведенное там короткое время Байрон употребил на посещение знаменитых достопримечательностей великого города и его окрестностей и на переделку 3-го акта «Манфреда». В начале июня он уже возвращался обратно в Венецию, в объятия своей Марианны, по которой не переставал тосковать все время своего пребывания в Риме. В Венеции он теперь поселился в собственной квартире, на великолепной вилле «Ла-Мара», расположенной в ближайших окрестностях города. Марианна жила с ним с ведома своего мужа, получавшего за такую снисходительность время от времени довольно крупные суммы денег. В образе жизни поэта тоже произошла некоторая перемена. Он значительную часть дня посвящал теперь прогулке верхом, наедине или в сопровождении какого-нибудь приятеля. Прогулки эти были предметом постоянного любопытства со стороны его соотечественников, которые целыми толпами ожидали его каждый день в том месте, где он обыкновенно менял гондолу на лошадь и наоборот. Поэт испытывал всегда необыкновенное удовольствие, когда ему удавалось обмануть ожидавшую его публику и ускользнуть незамеченным.

В начале 1818 года Байрон отослал, наконец, Марианну обратно к мужу и после этого переселился из загородной виллы в

роскошный дворец, нанятый им в центре города. В карнавале этого года он принимал еще более деятельное участие, чем в предшествовавшем, и с этого времени начался самый печальный период его пребывания в Венеции. Слишком широкая свобода нравов и чрезвычайная снисходительность общественного мнения с самого начала имели вредное влияние на страстную, необузданную натуру поэта. Пока Байрон жил с Марианной, он все-таки оставался еще на высоте требований местной морали, но как только расстался с женой «Венецианского купца», то начал быстро погружаться в самый омут разврата и дошел, наконец, до того, что даже венецианцы были шокированы его образом жизни. Байрон стал менять своих любовниц чуть ли не каждый день и при этом брал их из самых низших слоев венецианского общества. Великолепный дворец его на Большом канале превратился в гарем, где, окруженный толпой падших женщин, он проводил целые вечера в кутежах и пьянстве. Этот бешеный разврат поэта в первые годы его пребывания в Италии объясняется до некоторой степени и его тогдашним настроением. Он находился еще под мучительным впечатлением внезапно обрушившегося на него семейного несчастья и думал найти забвение в таком ненормальном образе жизни. Наконец, он еще чувствовал ужасную обиду, которую ему нанесли соотечественники, и хотел показать им своим, шокировавшим их, поведением, как глубоко он презирал любое мнение о нем. В это же время Байрон отказался и от своей диеты, вследствие чего стал быстро жиреть и терять красоту. В письме к своему издателю от 6 апреля 1819 года, т. е. после двух лет подобной жизни, он следующим образом описывал со стояние своего здоровья. «Вы спрашиваете меня о здоровье: в начале этого года я находился в состоянии крайнего истощения и страдал полнейшим расстройством желудка. Я принужден был отказаться от прежнего образа жизни, который быстро приближал меня к могиле. Я теперь стал лучше и здоровьем, и поведением».

Заметим, что в течение этого, не самого лучшего, периода жизни великого поэта в Венеции, в то самое время, когда он не щадил своего здоровья, гений его не только не бледнел и не ослабевал ни на один момент, но, наоборот, достиг высшей степени своего развития. Байрон работал в это время с еще большей энергией, чем прежде, и количество написанного им тогда поистине поразительно. К этому периоду относятся такие замечательные произведения, как 4-я часть «Чайльд-Гарольда», «Манфред», первые части «Дон-Жуана», «Беппо» и «Мазепа». Четвертая, и последняя, часть «Чайльд-Гарольда», посвященная Италии, была окончена поэтом в сентябре 1817 года и вышла из

печати в начале 1818 года.

«Эта часть „Чайльд-Гарольда“, – говорит английский биограф Байрона, профессор Никольс, – впервые обнаружила весь огромный талант поэта. Если бы литературная карьера Байрона окончилась с его отъездом из Англии, его помнили бы в течение одного столетия как автора нескольких мелодических стихотворений, умной сатиры, поэтического дневника путешествий, обнаруживающего проблески гения, и целого ряда очаровательных поэтических рассказов, имевших колоссальный успех. Но 3-я и 4-я песни „Чайльд-Гарольда“ поставили его на другое место: они сделали его одним из *Dii Majores* английской поэзии».

А вот как отзывается знаменитый Гёте о другом великом произведении Байрона, появившемся в том же году, что и последняя часть «Чайльд-Гарольда»: «Трагедия Байрона „Манфред“ была для меня удивительным феноменом и таким, который очень близко касался меня. Этот своеобразный гений взял моего „Фауста“ и извлек из него самую богатую пищу для своего ипохондрического на строения. Он воспользовался его основными идеями совершенно по-своему, для своих собственных целей, так что ни одна из них не осталась тем же, чем была, и вот именно поэтому-то я и не могу достаточно надивиться ему. Он сделал из моего „Фауста“ до такой степени совершенно новое произведение, что было бы чрезвычайно интересно для критика определить не только перемены, которые он произвел, но и степень сходства или различия их от оригинала».

Большинство критиков того времени так же, как и Гёте, смотрели на «Манфреда» только как на необыкновенно гениальное подражание «Фаусту». Но Байрон отрицал это. «Я никогда не читал „Фауста“ Гёте, – писал он в июне 1820 года своему издателю, – потому что я не знаю немецкого языка. Но в 1816 году М. Льюис перевел мне устно большую часть его, и я, разумеется, был сильно поражен им. Но только Штаубах и Юнгфрау, как и еще кое-что, гораздо больше, чем „Фауст“, заставили меня написать „Манфреда“. Впрочем, первая сцена моей трагедии, действительно, очень похожа на соответствующую сцену в „Фаусте“…»

Во время карнавала 1819 года распутство Байрона достигло своего апогея; дальше оно уже идти не могло. Он был до такой степени истощен, что уже не в силах был совершать своих любимых прогулок верхом или в гондоле. Ноги его начали дрожать, руки стали бледны и прозрачны, волосы на голове почти совершенно поседели, а пищеварение до такой степени расстроилось, что он уже не в состоянии был ни есть, ни пить.

Ему пришлось волей-неволей вернуться к прежней воздержанности и строгой диете, после чего здоровье его начало быстро поправляться, и лицо стало по-прежнему прекрасным.

Сделавшись снова частым посетителем аристократических салонов Венеции, Байрон познакомился в одном из них в начале апреля 1819 года с графиней Гвиччиоли, и любовь, явившаяся результатом этого знакомства, оказала благотворное влияние на всю последующую жизнь поэта в Италии. Когда графиня Гвиччиоли в первый раз увидела Байрона, ей не исполнилось еще 17 лет. Это произошло всего 6 месяцев спустя после бракосочетания ее с графом Гвиччиоли, который был более чем втрое старше и за которого ее выдали замуж сразу же после выхода из монастыря, где она воспитывалась. Необыкно венная красота поэта, его высокое происхождение и громкая слава не могли не произвести с первого же раза очень сильного впечатления на юную и неопытную графиню, и потому неудивительно, что она уже после нескольких свиданий и разговоров с ним страстно в него влюбилась. Это была первая любовь ее. С другой стороны, и Байрон, после двух лет бешеного разврата и жизни в обществе низких и пошлых женщин, не мог не быть сразу очарованным чистой и свежей красотой молоденькой графини. Это была последняя любовь поэта, менее прежних романтическая и страстная, но зато гораздо более их продолжительная и счастливая.

В конце апреля, т. е. через неполных три недели после своей встречи с Байроном, графиня Гвиччиоли должна была уже расстаться с ним и уехать с мужем в Равенну. Разлука с поэтом была так тяжела для графини, что она в пути три раза падала в обморок и с каждой станции писала ему письма, умоляя его немедленно следовать за ней. По приезде в Равенну она тотчас слегла в постель, и у нее начали обнаруживаться признаки чахотки. Узнав об этом, Байрон немедленно отправился к ней и успел в несколько дней без помощи всяких лекарств совершенно вылечить свою возлюбленную. Пробыв два месяца в Равенне, он отправился затем вместе с графиней и ее мужем в Болонью. Отношение графа Гвиччиоли к возлюбленному своей жены в течение всего этого времени оставалось прекрасным. Старик-муж тем легче мирился с любовью Байрона к его супруге, что такого рода отношения были слишком обыкновенны в Италии того времени. Всякой замужней женщине тогда позволялось иметь одного «официального» любовника, который назывался «cavalier servente» или просто «amica». Пробыв некоторое время в Болонье, влюбленные, воспользовавшись отлучкой графа Гвиччиоли по делам в Равенну, уехали в Венецию под тем предлогом, что

графиня будто бы нуждалась в советах знаменитых врачей этого города. В Венеции Байрон поселился вместе с нею на своей загородной вилле «Ла-Мира», к величайшему негодованию местных дам, которые такого рода поступок поэта считали уж слишком дерзким. Но граф Гвиччиоли смотрел на это дело гораздо более снисходительно. Когда он узнал, что жена его вместе со своим «amica» переселилась в Венецию, он немедленно написал ей письмо, которое содержало, однако, не упреки, а только просьбу о том, чтобы она уговорила его соперника дать ему взаймы 10 тысяч рублей. Но Байрон, вопреки советам своих друзей, отказался исполнить желание графа: он скорее готов был расстаться со своей возлюбленной, чем с такой крупной суммой денег. Тогда взбешенный муж сам явился в Венецию и потребовал уже не денег, а супругу. Поэт, к удивлению графа и вопреки ожиданиям графини, отнесся к этому требованию чрезвычайно спокойно и стоически подчинился необходимости расстаться с ней.

После ее отъезда Байрон начал думать о возвращении на родину, но ему крайне трудно было решиться на это, и он долгое время колебался. Его нерешительность еще более усилилась, когда он стал получать письма из Равенны о болезни своей возлюбленной. Дело в том, что графиня Гвиччиоли не была способна переносить разлуку с Байроном столь же стоически, как тот переносил разлуку с ней, и вскоре после своего приезда в Равенну слегла в постель. Когда болезнь ее начала принимать серьезный оборот, родные ее и сам граф в испуге написали Байрону письмо с просьбой явиться немедленно к постели умирающей графини. Поэт долго не знал, что ему предпочесть: возлюбленную или родину; но, наконец, он решил пожертвовать родиной и в половине декабря 1819 года уехал из Венеции в Равенну. С его приездом туда графиня, разумеется, начала быстро поправляться. Для большего удобства возлюбленных граф Гвиччиоли предложил Байрону нанять у него в доме квартиру, конечно, за солидную плату. В течение нескольких месяцев муж, жена и ее «официальный» любовник жили спокойно и комфортабельно под одной крышей. Вся Равенна хохотала над графом Гвиччиоли, но не это способно было огорчить его. Его сильно беспокоило и, наконец, заставило принять решительные меры только то обстоятельство, что дворец его, с тех пор как в нем поселился его соперник, сделался сборным пунктом для всех равеннских заговорщиков. Так как граф был на стороне правительства, то ему, конечно, невозможно и нежелательно было терпеть в своем доме человека, все симпатии которого были на стороне карбонариев и который пользовался среди последних

значительным влиянием. Поэтому в конце концов он потребовал от жены, чтобы она немедленно дала отставку своему «amica», а когда та решительно отказала ему в этом, он стал угрожать ей разводом. Для того чтобы выхлопотать развод, графу необходимо было, однако, обратиться к помощи адвокатов, но те наотрез отказали ему в своих услугах, так как общественное мнение было против него. К счастью для всех сторон, графиня Гвиччиоли, наконец, сама стала хлопотать о разводе, который ею и был получен в июле 1820 года. Одним из условий развода суд определил, чтобы графиня впредь жила постоянно в доме своих родителей. Ввиду этого Байрону в первое время после получения графиней развода не было особенно удобным часто встречаться с ней; но впоследствии и это препятствие исчезло, так как поэт поселился в одном доме с родными своей возлюбленной. Байрон окончательно расстался с графиней Гвиччиоли только тогда, когда уехал в Грецию. Такова история последнего романа в жизни великого поэта.

Байрон прожил в Равенне немногим менее двух лет, и за это время, несмотря на деятельное участие в местных политических делах и в хлопотах, связанных с разводом графини Гвиччиоли, он успел написать следующее: три исторические драмы – «Марино Фальери», «Двое Фоскари» и «Сарданапал»; две мистерии – «Каин» и «Небо и Земля»; 5-ю часть «Дон-Жуана», «Пророчество Данте», «Видение Страшного Суда» и «Вернера». О драмах Байрона, из которых большая часть появилась в 1821 году, английский критик его, профессор Никольс, отзывается так: «Лорд Байрон не обладал способностями великого драматурга; он имел очень мало конструктивного воображения и не в состоянии был создавать ничего цельного и законченного… Его так называемые драмы суть не что иное, как поэмы, разделенные на главы. Далее, он не обладал тем, что Расин называет „проницательным воображением“, и поэтому создавал все лица драм по своему собственному образу». В «Марино Фальери» он пытался создать характер, непохожий на его собственный, и вышло нечто совсем нереальное. Зато «Сарданапал», самая субъективная из всех его драм, оказалась вместе с тем и самой лучшей. Одновременно с «Сарданапалом», т. е. в декабре 1821 года, появилась и великая мистерия Байрона «Каин». Это произведение, посвященное Вальтеру Скотту, вызвало необыкновенный восторг в одних и такое же негодование в других. Томас Мур отзывался о «Каине» как о произведении «поразительном, страшном и бессмертном». Валь тер Скотт сравнивал его с «Потерянным раем» Мильтона, а Шелли смотрел на него как на новое откровение. Гёте был так восхищен «Каином», что советовал немцам учиться английскому

языку специально для того, чтобы иметь возможность читать это великое произведение в подлиннике. Но в то время как одни восхищались «Каином», другие отзывались о нем с пеной у рта. Большинство мелких английских критиков неистово ругали автора, а крупные, отмечая великие литературные достоинства этого произведения, считали нужным, однако, в то же время горько оплакивать антирелигиозную тенденцию его. Не смотря на это, успех произведения был колоссальным, и в короткое время появилось множество законных и незаконных перепечаток с первого издания.

После развода графини Гвиччиоли Байрон некоторое время еще оставался в доме ее мужа и, к великому негодованию последнего, продолжал деятельно заниматься там политикой. Перебравшись на другую квартиру, поэт стал чаще прежнего встречаться с карбонариями. Папскому правительству, конечно, сильно не нравилось вмешательство Байрона в местные дела, но оно боялось трогать знатного англичанина. Желая, однако, во что бы то ни стало избавиться от него, прибегли к следующей тактике: правительство издало приказ об изгнании семейства Тамбов, т. е. родных графини Гвиччиоли, в полной уверенности, что поэт не останется в Равенне после того, как его возлюбленная, которая обязана была, согласно разводу, жить у своих родных, последует за ними в изгнание. Ожидания правительства вполне оправдались. Семейство Тамбов вместе с графиней Гвиччиоли выехало из Равенны в середине июля 1821 года, а Байрон, оставшись там назло правительству еще на несколько месяцев, в декабре того же года последовал за своей возлюбленной в Пизу.

О жизни поэта в этом городе мы читаем у одного из новейших английских его биографов следующее. «Прибыв в Пизу вместе со всеми своими экипажами, лошадьми, собаками, птицами, слугами и обезьяной, Байрон поселился в палаццо Лафранчи, где прожил спокойно целых 10 месяцев, отлучившись оттуда только на несколько недель в Легхорн. Жизнь его в старом феодальном замке была в общих чертах продолжением его жизни в Равенне. Он вставал поздно, после полудня принимал посетителей, затем играл на бильярде, совершал прогулки верхом или же упражнялся в стрельбе. Большую часть своего времени он обыкновенно проводил в обществе Шелли, который тоже тогда жил в Пизе. Оба поэта были хорошими стрелками, но Байрон был более метким, несмотря на то, что рука его часто дрожала. Начало вечера он обыкновенно проводил в обществе графини Гвиччиоли, с которой он теперь уже жил под одной крышей вопреки условиям развода. После крайне скудного ужина он принимался за поэзию и просиживал часто до самого утра».

Во время своего пребывания в Пизе Байрон получил от своей жены пакет, содержавший локон волос и миниатюрный портрет дочери их Ады. Этот подарок глубоко тронул поэта, и он с благодарностью вспоминал о нем в своих письмах к друзьям. Но несколькими месяцами позже, его как отца постигло также и большое горе. В апреле 1822 года он получил известие о смерти своей незаконной дочери Аллегры, которая жила с ним в Италии с 1818 года и которую он незадолго перед тем поместил для воспитания в один из католических монастырей. Этот удар был совершенно неожиданным, и некоторое время Байрон ходил сам не свой. Оправившись немного от горя, он сказал однажды графине Гвиччиоли: «Она (Аллегра) счастливее нас, и, кроме того, ее положение в свете навряд ли позволило бы ей быть счастливой; в этом воля Божия – не будем больше об этом говорить». Останки своей дочери поэт отправил на родину, чтобы их похоронили на том самом кладбище в Харроу, где он, будучи школьником, когда-то просиживал долгие часы. Несколько месяцев спустя после смерти Аллегры Байрон лишился своего любимого и уважаемого друга, поэта Шелли, который утонул, застигнутый бурей в то время, когда он находился в своей лодке в море.

В сентябре 1822 года Байрон вынужден был, после нескольких неприятных столкновений с властями Пизы, покинуть этот город и переехать вместе с графиней и ее родными в Геную, где он, поселившись в старом замке, расположенном на берегу моря, в самой живописной части города, и прожил уже до самого своего отъезда из Италии.

Вскоре после своего приезда в Геную Байрон получил из Лондона первый номер литературного журнала «Либерал», который он тогда же стал издавать вместе с другим английским писателем, Л. Гантом. Поэт задумал издавать журнал еще во время своего пребывания в Равенне. Он надеялся таким путем не только избавиться от издателей, но и значительно увеличить свои доходы. Ожидания его, однако, нисколько не оправдались, и издание «Либерала» пришлось прекратить уже после выхода второго номера. Байрон сам погубил свое предприятие тем, что напечатал в первом же номере своего журнала сатиру «Видение Суда», содержавшую нападки на незадолго перед тем умершего английского короля Георга III, что сразу вооружило против его органа всех высоколояльных соотечественников.

Во время своего пребывания в Генуе великий поэт написал последние произведения. Это были: XII—XVI главы «Дон-Жуана», сатира «Медный век» и прекрасный поэтический рассказ «Остров». Великая сатира Байрона «Дон-Жуан» осталась незаконченной.

Первые части ее, написанные еще в Венеции, при своем появлении были встречены, подобно большинству других произведений поэта, восторженными аплодисментами одних и неистовыми проклятиями других. Гёте назвал это произведение «безгранично-гениальным созданием с ненавистью к людям, доходящей до самой суровой свирепости, с любовью к людям, доходящей до глубины самой нежной привязанности». Он считал, однако, «Дон-Жуана» в то же время и самой безнравственной поэмой, какая когда-либо была написана. В последнем с ним была согласна большая часть тогдашних английских критиков. «Британский журнал» заявил, что «лорд Байрон унизил себя этим произведением»; журнал «Лондон» считал эту поэму «сатирой на благопристойность»; «Эдинбургский ежемесячник» смотрел на это произведение как на «печальное явление», а журнал «Эклектик» – как на «оскорбительный вызов, достойный презрения». Знаменитый английский критик того времени лорд Джеффри находил в «Дон-Жуане» «тенденцию к разрушению всякой веры в реальность добродетели», а другой критик, д-р Боткине, называл это произведение «Одиссеей безнравственности». В то же самое время Шелли был в восторге от этой сатиры, а Вальтер Скотт находил, что она «по разнообразию своего содержания не уступает даже произведениям Шекспира». Самые лучшие главы в «Дон-Жуане» – это последние, где поэт изобразил хорошо знакомую ему жизнь высшего английского общества; самые слабые – это VII—X главы, где он говорит о России, которую очень мало знал.

В начале апреля 1823 года Байрон получил письмо из Лондона от созданного там английского комитета помощи грекам в их борьбе за освобождение от турецкого владычества. В этом письме поэта извещали о том, что его заочно выбрали членом комитета, и выражали надежду, что он не откажется содействовать делу освобождения Греции. На это Байрон немедленно ответил следующее: "…Не могу вам выразить, до какой степени глубоко мое сочувствие этому делу; если бы я не надеялся быть свидетелем освобождения Италии, то давно бы уже отправился, с тем чтобы делать то, что мне по силам, в страну, на одно посещение которой я смотрю как на честь». После некоторых переговоров с лондонским комитетом Байрон решил отправиться в Грецию и стал энергично готовиться к отъезду.

Байрон в 1823 году. ***Эскиз графа Д'Орсэ***.

13 июля 1823 года великий поэт покинул навсегда Италию после почти шестилетнего пребывания в ней и отправился на собственном корабле «Геркулес» в страну, где ему вскоре суждено было преждевременно умереть.

Глава VII. В греции. Смерть

«Если я проживу еще десять лет, – писал Байрон в 1822 году Томасу Муру, – ты увидишь, что не все еще кончено со мной. Я не говорю о литературе, потому что это пустяки, и, как бы это ни показалось тебе странным, я думаю, что не в ней мое призвание. Ты увидишь, что я еще когда-нибудь совершу нечто такое, что „подобно сотворению мира будет приводить в недоумение философов всех времен“. Но я сомневаюсь, чтобы мой организм выдержал еще долго». Байрон не раз выражал мнение, что «человек должен делать для общества больше, чем только писать стихи», и он сам поступал согласно этому своему мнению. Когда, после удачной вначале революции в Неаполе, равеннские патриоты стали готовить восстание в Папской области, «для того чтобы загородить австрийским войскам дорогу в южную Италию, Байрон всей душой был на стороне этого движения и содействовал ему всем чем мог. В его доме собирались ежедневно вожди карбонариев; он вооружал за свой счет всех заговорщиков, и даже сам стал во главе одной из таких групп. Он горел желанием видеть Италию освобожденной и готов был пожертвовать всем для достижения этой цели. „Неважно, – писал он одному из своих друзей в самый разгар волнений на Апеннинском полуострове, – кто или что должно быть принесено в жертву, если только Италия может быть освобождена. Это великое дело, это сама поэзия политики: вы только подумайте, что значит *свободная Италия!“*

Неудачный исход неаполитанской революции глубоко огорчил поэта, но он никогда не переставал верить в будущее итальянцев и других угнетенных наций."…Кровь будет литься, как вода, – писал он раз, – а слезы, как роса; но народы победят в конце концов. Я не надеюсь дожить до этого, но предвижу это». Разочаровавшись в своей надежде увидеть освобожденной Италию, Байрон с радостью принял приглашение помогать делу освобождения Греции. Некоторые биографы поэта утверждают, что он принимал участие в освободительных движениях Италии и Греции из одного только тщеславия и честолюбия. Это утверждение крайне односторонне, а потому и несправедливо. Что Байрон, всегда крайне тщеславный и честолюбивый, оставался таким же и в то время, когда участвовал в подготовке восстания в Италии, и впоследствии, когда помогал свободолюбивым грекам, – это только вполне естественно. Но чтобы он в своей политической деятельности руководствовался одним только тщеславием и честолюбием, – этому противоречит

как то, что он делал, так и то, что он говорил или писал.

«Подобно Альфиери и Руссо, – говорит биограф его, профессор Никольс, – его девизом было „Я принадлежу к оппозиции“, и как Данте, живя в республике, требовал монархии, так и Байрон во время господства монархий в Европе жаждал республики». Байрон искренно любил свободу и всем существом своим ненавидел притеснение и притесняющих. Но он не был энтузиастом свободы: для этого он был слишком большим скептиком. Он помогал угнетенным не столько из любви к ним, сколько из ненависти к их притеснителям. Байрон был слишком аристократом в душе, чтобы быть искренним демократом. Ему хотелось господствовать на политическом поприще так же, как он господствовал на поприще поэзии, но его политическое честолюбие было неизмеримо выше честолюбия простого авантюриста. «Быть первым человеком, – писал он в своем дневнике, – *(не* диктатором), не первым, вроде Суллы, а таким, каким был Вашингтон или Аристид, первым по таланту и добродетели, – значит стоять ближе к Божеству».

Отправляясь в Грецию, Байрон мало верил в близкий успех того дела, которому решил посвятить себя, еще менее он верил в самих греков. На потомков древних эллинов поэт смотрел как на полуварваров, но он сознавал в то же время, что причина их отсталости и испорченности лежала в ненормальных политических условиях, в которых они жили, и верил в возможность их возрождения вместе с улучшением окружающих условий. Байрон отправлялся в Грецию не как фанатик свободы, не как дилетант и не в надежде найти поэзию в той деятельности, которая ему предстояла, а как трезвый и практический общественный деятель. Во время своего, к несчастью, непродолжительного участия в греческом движении он вел себя с таким тактом и обнаружил такую политическую проницательность, что друзья его совершенно не узнавали в нем прежнего легкомысленного поэта.

Байрон охотно отправлялся в Грецию, между прочим, еще и потому, что ему тогда уже надоело жить в Италии, и он уже начал тяготиться своей связью с графиней Гвиччиоли. Еще во время своего пребывания в Равенне он иногда мечтал о поездке в Южную Америку, для того чтобы сделаться там мирным плантатором. «Если мы не отправимся в Грецию, – писал он в мае 1823 года, – я решил уехать в какое-нибудь другое место и надеюсь, что мы во всяком случае через месяц уже будем в море, так как мне надоела и эта страна, и этот берег, и все здешние люди». По мере того как время отъезда из Италии приближалось, Байрон становился все более и более нерешительным. Он иногда

говорил, что вернется назад из Греции через несколько месяцев, а порой даже выражал сомнение в том, состоится ли вообще его поездка туда. Кроме того, незадолго перед отъездом его начало преследовать мрачное предчувствие, что смерть его близка и что он уже не вернется из Греции. А он верил в предчувствия. В начале июня 1823 года, т. е. приблизительно за месяц до своего отъезда, поэт однажды сидел вечером у друга своего, леди Блессингтон, которая собиралась на следующий день уехать в Англию, и с глубокой грустью говорил о предстоящем ему путешествии. «Мы теперь здесь собрались все вместе, – заметил он, – но кто знает, когда и где мы встретимся опять. Я имею какое-то предчувствие, что мы видим друг друга в последний раз, так как мне что-то подсказывает, что я уж никогда не вернусь обратно из Греции». Договорив последние слова, поэт склонил свою голову на ручку дивана и начал истерически рыдать.

Утром 14 июля 1823 года Байрон ступил на борт своего корабля «Геркулес» вместе с приятелем Трелани, молодым графом Гамбой (братом графини Гвиччиоли), итальянским врачом Брюно, камердинером Флетчером и 8 другими слугами. Кроме поэта и его свиты, на корабле находились еще капитан судна Скотт и несколько матросов. «Геркулес» был вооружен двумя пушками и нагружен всякого рода оружием и амуницией. Байрон взял с собой, кроме того, еще 5 лошадей и большой запас медицинских средств. Через пять дней он был уже у Легхорна, где ему вручили рифмованный привет от Гёте, на который он немедленно ответил письмом. Из Легхорна Байрон 24 июля отплыл в Кефалонию. В пути он много занимался чтением, а также наблюдением исторических берегов, мимо которых проходил его корабль. Проезжая мимо Стромболи, поэт заметил Трелани: «Вы увидите эту сцену в 5-й песне „Чайльд-Гарольда“. Товарищи Байрона по экспедиции были очень довольны им как спутником: он был все время очень весел и много шутил. Байрон не забывал в дороге и своих любимых физических упражнений: он каждое утро плавал и стрелял в цель. В начале августа экспедиция достигла Кефалонии. При виде берегов Мореи поэт воскликнул: „Я себя чувствую теперь так, как будто сразу стал моложе на те одиннадцать лет, которые прошли с тех пор, как мне довелось быть здесь в последний раз и когда я проезжал эти же места на фрегате старого Батерста“.

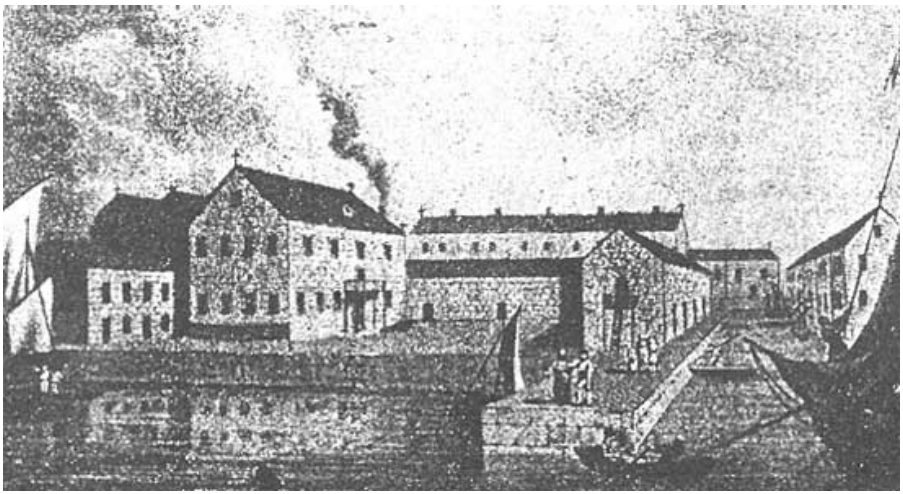
Байрон пробыл на острове Кефалонии до конца 1823 года. В течение первого месяца он ночи проводил на корабле, а дни – на берегу; но когда убедился, что ему придется оставаться долго в тех местах, то совсем перебрался на берег и поселился вместе с графом Гамбой в деревне Метоксате, расположенной в

окрестностях Аргостоли, столицы острова. По прибытии на Кефалонию Байрон немедленно отправил двух посланцев к временному правительству Греции, чтобы узнать о положении дел и получить необходимые инструкции. В ожидании возвращения этих посланцев он решил держаться строго выжидательной политики. Эта тактика его оказалась очень разумной при той неурядице, которая тогда господствовала в Греции. Временное правительство было без денег и не пользовалось почти никаким авторитетом, а многочисленные вожди инсургентов соперничеством между собой ослабляли боевые силы страны и губили движение. Байрон решил не предпринимать ничего до тех пор, пока для него не выяснится положение дел в Греции и пока ему не удастся добиться хоть какого-то согласия между греческими вождями. Он каждый день получал множество писем с приглашением приехать в Афины, Акарнанию или Морею. Каждый день к, нему приезжали делегаты от различных фракций инсургентов с просьбой о поддержке; но он всем отвечал одно: „Прекратите ваши раздоры и боритесь за всю страну, а не за часть ее только; я явился сюда не с тем, чтобы помогать кому-нибудь из вас в отдельности как партизан, а для того, чтобы помочь вам всем как общий ваш друг“.

Греция тогда чувствовала сильную нужду в военном флоте, чтобы освободить свои порты от блокады турецких кораблей. Байрон предложил временному правительству 40 тысяч рублей для приобретения флота и в то же время хлопотал о заключении займа для этих целей у английских банкиров. В переговорах с различными делегатами и в переписке с вождями и правительством проходило почти все время поэта на Кефалонии. Некоторые биографы его утверждают, что греческие делегаты, посетившие его в Метоксате, между прочим, заметили ему, что он может надеяться на корону освобожденной Греции, на что поэт-республиканец будто бы ответил следующее: „Если мне сделают подобное предложение, я, быть может, приму его“. Во всяком случае, несомненно, что вся Греция смотрела на него как на своего освободителя и ожидала приезда его с величайшим нетерпением. Среди населения острова Кефалонии он скоро стал очень популярен за свое замечательное великодушие и щедрость.

К концу 1823 года дела Греции несколько поправились, главным образом, благодаря прибытию флота, нанятого на деньги Байрона. Турецкие корабли должны были тогда оставить важный греческий порт Миссолонги и удалиться в Лепанто, а их место занял греческий флот. Теперь уж наступило время, когда Байрон мог и должен был выйти из своего выжидательного положения. Приглашая его в декабре этого года немедленно приехать в

Миссолонги, принц Маврокордатос, губернатор Западной Греции и самый способный из греческих вождей, заканчивал свое письмо Байрону следующими словами: "…Мне незачем говорить вам, до какой степени ваше присутствие здесь желательно для всех и какое счастливое направление оно даст всем нашим делам. Ваших советов будут слушаться, как изречений оракула».



Дом в Миссолонги, где жил Байрон.

Несколько дней спустя после получения этого письма Байрон вместе с графом Гамбой покинул, наконец, Кефалонию и на двух небольших судах отплыл в Миссолонги. На пути туда судно, на котором плыл поэт, совершенно неожиданно столкнулось с турецким военным кораблем и не сделалось добычей турок лишь благодаря тому, что те заподозрили в нем миноносец. В Миссолонги Байрону устроили чисто королевскую встречу. Все население города и окрестностей собралось на берегу; все корабли, стоявшие на якоре в порту, приветствовали его судно, когда оно проходило мимо них, пушечными выстрелами; все войска и все гражданские и военные власти, с принцем Маврокордатосом во главе, встретили Байрона на месте высадки и проводили его в приготовленный для него дом под восторженные крики «ура», при звуках шумной музыки и громе артиллерийских залпов. «Я не могу передать того впечатления, – рассказывает граф Гамба в своих воспоминаниях о поэте, – которое эта сцена произвела на меня. Я с трудом мог удержаться от слез».

Этот восторженный прием на время сильно воодушевил Байрона, и он стал смотреть с большей надеждой на ближайшее

будущее Греции и на предстоявшую ему здесь работу. Его назначили в это время главнокомандующим, «архистратигом» трехтысячного отряда, который должен был отправиться против Лепанто, занятого турецкими войсками. Кроме того, он окружил себя гвардией из 500 храбрых сулиотов, которых содержал на собственные деньги. Байрон энергично принялся за обучение своих солдат и с нетерпением ожидал момента, когда ему можно будет выступить в поход. Во время этих военных приготовлений великий поэт в последний раз отпраздновал день своего рождения. Утром 22 января 1824 года, когда ему исполнилось 35 лет, он вышел из своей спальни в комнату, где собрались некоторые друзья его, и с улыбкой сказал: «Вы жаловались недавно, что я уж больше не пишу стихов; сегодня день моего рождения, и по этому случаю я только что написал кое-что; по моему мнению, это лучше того, что я обыкновенно пишу». Это было последнее его стихотворение, начинающееся следующими трогательными строками:

О сердце! замолчи! пора забыть страданья…
Уже любви ни в ком тебе не возбудить;
Но если возбуждать ее не в состояньи,
Все ж я хочу еще любить…

(Пер. Н. Гербеля)

В начале февраля все уже было готово к походу против Лепанто, как вдруг гвардия Байрона взбунтовалась и потребовала увеличения своего жалованья, угрожая в противном случае не трогаться с места. Бунт этот был скоро подавлен, но тем не менее выступление в поход пришлось на время отложить. Этот инцидент произвел крайне удручающее впечатление на поэта и был, вероятно, вернейшей причиной того сильного припадка падучей болезни, который случился с ним в ночь на 15 февраля. На другой день после припадка Байрон жаловался на ужасную тяжесть в голове; медики поставили ему пиявки, но так близко к височной артерии, что от громадной потери крови он лишился чувств. Ко времени этой болезни великого поэта относится отлично характеризующий его случай, сообщенный товарищем его по участию в греческом движении, полковником Стенгопом. «Вскоре после ужасного припадка, – рассказывает последний, – когда Байрон лежал в постели больной и с совершенно расшатанными нервами, в его спальню внезапно ворвались мятежные сулиоты, потрясая своим дорогим оружием и громко требуя удовлетворения. Поэт, наэлектризованный этим

неожиданным фактом, казалось, сразу совершенно выздоровел, и чем более сулиоты неистовствовали, тем он становился спокойнее и смотрел отважнее. Сцена была поистине величественная». «Невозможно, – говорит по поводу того же инцидента граф Гамба, – достаточно справедливо оценить присутствие духа и отважность Байрона в каждом более или менее затруднительном случае. Обыкновенно очень раздражительный и способный вспылить из-за пустяка, он при виде серьезной опасности моментально успокаивался… Человека более неустрашимого в минуты опасности, чем был он, трудно себе и представить».

Несколько дней спустя после усмирения первого бунта сулиотов, этих своенравных воинов пришлось усмирять во второй раз. Среди других войск также господствовало недовольство. При таких условиях об экспедиции против Лепанто в более или менее близком будущем нечего было и думать. Между тем жизнь великого поэта быстро приближалась к концу. Со времени первого припадка падучей болезни в феврале он стал чувствовать себя с каждым днем все слабее и слабее. Организм его, и без того уже крайне истощенный ненормальной диетой, был еще более ослаблен припадком и неосторожным кровопусканием. Он питался с тех пор, как приехал в Грецию, исключительно сухим хлебом, зеленью и сыром. Его все еще, как в дни юности, преследовал страх растолстеть, и он каждый день измерял себя в талии, чтобы узнать, не стал ли он толще. В тех случаях, когда результаты измерения оказывались неблагоприятными, он немедленно принимал сильную дозу лекарства. При таком состоянии здоровья и при подобном образе жизни ему еще пришлось со времени своего приезда в Миссолонги жить в самой нездоровой и грязной части этого самого нездорового и грязного города Греции. Место, где расположены Миссолонги, крайне низменное, вследствие чего в городе постоянно свирепствовала болотная лихорадка. Друзья поэта с самого начала уговаривали его немедленно оттуда уехать и поселиться в более здоровой части Греции, но тот и слышать не хотел об этом, хотя прекрасно понимал угрожавшую ему опасность. 5 февраля, т. е. за десять дней до первого припадка падучей болезни, он писал одному приятелю следующее: «Если нас не скосит меч, то, очень вероятно, убьет лихорадка в этой грязной дыре… Прорванные плотины Голландии – это пустыни Аравии в сравнении с Миссолонгами».

Байрон уже после первого припадка начал подозревать, что его конец близок. В начале марта он писал: «Мне известно, что состояние моего здоровья очень ненадежно. Но я все-таки должен

оставаться в Греции, так как лучше умереть за делом, чем в безделье». В конце марта временное правительство Греции предложило ему пост губернатора Мореи и пригласило приехать на военный конгресс, который должен был собраться в начале апреля в Силоне. Байрон обещал отправиться на конгресс, но ему уже не суждено было исполнить этого обещания. 9 апреля он получил радостное письмо от Августы: сестра сообщала ему, что дочка его Ада уже совсем поправилась после своей болезни и что ее собственное здоровье было гораздо лучше прежнего. По случаю получения таких хороших известий он решил в тот день отправиться на прогулку верхом, чего не делал против своего обыкновения уже целых три дня из-за непрекращавшегося дождя. Погода в этот день была ненадежной, и можно было каждую минуту ожидать дождя, но Байрон решил рискнуть, несмотря на то, что все уговаривали его остаться дома. Его сопровождали на прогулку граф Гамба и несколько сулиотов. Сначала погода благоприятствовала, и Байрон, увлекшись, пустил лошадь в галоп. Когда он таким образом сильно разгорячился, на него вдруг хлынул проливной дождь и в несколько минут промочил его до костей. Будучи в таком состоянии, поэт все-таки настаивал на том, чтобы возвращаться домой, как обычно, в лодке, и, на просьбы своего спутника не делать этого, с улыбкой отвечал: «Хороший бы из меня вышел солдат, если бы я обращал внимание на такие пустяки». Но это оказалось не пустяком, а смертью. Немедленно по возвращении домой Байрон почувствовал страшную боль во всем теле и сильную лихорадочную дрожь. Но на другое утро он встал в обычное время и совершил прогулку верхом в оливковой роще. 11 апреля снова последовал сильный припадок лихорадки, и, когда до 14 апреля ему не стало лучше, решили послать за врачом в Занте. К несчастью, страшная буря, свирепствовавшая тогда на море, помешала исполнению этого решения, и пришлось довольствоваться теми медиками, которые были в Миссолонгах. Когда один из этих врачей посоветовал Байрону пустить себе кровь, чтобы ослабить лихорадочный жар, он сначала наотрез отказался. «Если мой час настал, – сказал он, – я все равно умру, пущу ли себе кровь или нет». Но на следующее утро, когда тот же врач намекнул ему, что он может лишиться рассудка, если будет дольше противиться кровопусканию, больной тотчас протянул свою руку и гневно воскликнул: «Вот вам, кровопийцы; возьмите у меня сколько угодно крови, но только кончайте поскорее!» На другой день кровопускание повторили, но больному нисколько не становилось лучше: он быстро и заметно угасал.

Уход за Байроном все это время был очень усердный, так как

все окружающие были сильно привязаны к нему; но хлопоты и беготня всех его слуг и приятелей больше беспокоили его, чем приносили пользу. В квартире его господствовал страшнейший сумбур, так как слуги и члены его свиты, принадлежа к различным национальностям, совершенно не понимали друг друга. 18 апреля больной, хотя и чувствовал себя во всех отношениях хуже, попытался все-таки добраться при помощи слуги до соседней со спальней комнаты и там некоторое время занимался перелистыванием книги, после чего вернулся обратно к своей постели. В этот день начиналась Пасха; греки имеют обыкновение встречать светлый праздник пистолетными выстрелами; но на этот раз во всем городе царила мертвая тишина. Военные патрули ходили по улицам и, сообщая жителям об опасности, угрожавшей их благодетелю, просили воздерживаться от всякого шума, который мог бы его беспокоить. К вечеру 18-го Байрону стало еще хуже; он уже чувствовал приближение конца. Вокруг его постели стояли верные слуги и обожавший его граф Гамба и горько плакали, хотя понимали, что этого не следовало делать в присутствии умирающего. Заметив общие слезы, Байрон полуулыбаясь сказал: «O questa è una bella scena!» («Какая прекрасная сцена!»).

Вскоре после этого у него начался бред, причем умирающий говорил в бреду наполовину по-английски, наполовину по-итальянски. Он воображал, что ведет отряд свой на приступ, и кричал: «Вперед, вперед, смелее, за мной!» Придя через некоторое время в себя, Байрон выразил желание дать последние поручения своему старому слуге Флетчеру. Началась раздирающая душу сцена между больным, с трудом выговаривавшим слова, и слугой, тщетно пытавшимся понять его.

Мы передадим эту сцену словами биографа поэта – Томаса Мура: «Когда Флетчер спросил, не принести ли ему перо и бумагу, чтобы записать все, что он скажет, больной отвечал: „О нет! На это не хватит времени, уже почти все кончено. Пойди к моей сестре – скажи ей… пойди к леди Байрон… ты увидишь ее и скажи ей…“ Здесь голос его оборвался, но он продолжал в течение почти 20 минут серьезно бормотать что-то, но, кроме нескольких бессвязных слов, невозможно было ничего разобрать. Это были всё имена – „Августа, Ада, Гобгауз“. Затем он сказал: „Теперь ты знаешь все“. – „Милорд, – отвечал с отчаянием Флетчер, – я не понял ни одного слова из того, что вы говорили“. – „Не понял меня, – воскликнул Байрон с бесконечной грустью во взоре, – как жаль! Значит, уже слишком поздно, все кончено…“ Он после этого пытался произнести еще несколько слов, но из них можно было разобрать только – „сестра моя, дитя

мое…“ Байрону дали после этого успокоительное средство, и он заснул. Через полчаса он проснулся, и ему дали новую дозу этого лекарства. Он начал говорить в полузабытьи: „Бедная Греция… бедный город… бедные слуги мои… Зачем я не знал этого раньше?.. Мой час настал, – я не боюсь смерти, но почему я не отправился домой раньше, чем поехал сюда?.. Есть вещи, для которых мне хотелось бы жить, но, вообще, я готов умереть…“ Около 6 часов вечера того же дня он произнес последние слова свои: „δει με νυν χαθευδειν“ („Теперь мне надо заснуть“), потом повернулся к стене и тотчас же погрузился в бессознательное состояние, из которого уже больше не выходил. Ровно через 24 часа после этого, т. е. в 5 часов 45 минут вечера 19 апреля, он в последний раз открыл глаза и тотчас же закрыл их опять. Все было кончено. Одного из величайших гениев XIX века не стало!..»

Весть о смерти великого поэта глубоко опечалила весь цивилизованный мир; но сильнее и глубже всех была, конечно, печаль того народа, которому он посвятил последние дни свои и среди которого он умер, борясь за его освобождение. Утром, на другой день после смерти Байрона, из орудий главной батареи Миссолонги было сделано 37 выстрелов, по числу лет, которые прожил великий поэт. Все торговые и промышленные учреждения были закрыты в течение трех дней; все общественные увеселения были строго запрещены; во всех церквях горячо молились за упокой души усопшего, и в продолжение 21 дня весь город был в глубоком трауре. По всей Греции только и слышалось: «Лорд Байрон умер!», «Великого человека не стало!» Города греческие спорили о том, кому из них должна была принадлежать честь хранить у себя останки великого поэта. Афины предлагали храм Тезея. Жители Миссолонги просили, чтобы им оставили хоть сердце усопшего благодетеля своего… Но друзья поэта решили повезти его останки в Англию, хотя он при жизни всегда выражал желание не быть похороненным на родине. 29 июня корабль «Флорида», доставлявший гроб с набальзамированным телом Байрона, прибыл в Лондон. В течение трех дней тело поэта было выставлено для публики в доме сэра Эдварда Кнечбуля, на Большой Георгиевской улице, после чего оно было торжественно вывезено из Лондона. До городской заставы печальный кортеж сопровождали многочисленные аристократические экипажи с друзьями, почитателями покойного поэта. Похороны состоялись в пятницу 16 июля в маленькой церкви деревни Гакнель, находящейся недалеко от города Ноттингема. Гроб Байрона был поставлен рядом с гробом его матери в фамильном склепе. В алтаре церкви потом была помещена доска из белого мрамора со следующей надписью:

«В склепе, находящемся под этим местом, где похоронены многие из его предков, а также и мать его, покоятся останки Джорджа Гордона Ноэля Байрона, Лорда Байрона из Рочдэля, в графстве Ланкастерском, автора „Странствований Чайлъд-Гаролъда“. Он родился в Лондоне 22 января 1788 г., умер в Миссолонгах, в Западной Греции, 19 апреля 1824 г., занятый благородной попыткой вернуть этой стране ее прежнюю свободу и славу. – Эта доска поставлена в память о нем сестрой его, Августой Марией Ли».

Глава VIII. Байрон как человек

К несчастью для памяти Байрона, о его жизни известно слишком много, – гораздо больше, чем о жизни других великих людей, и притом благодаря ему же самому. Вследствие этого выходит, что, в то время как с именем Шекспира, о жизни которого очень мало известно, связано только представление о великом драматурге, с именем великого поэта Байрона связано представление о маленьком человеке. Если сравнить гений Байрона с его характером, то нельзя не согласиться с профессором Эльзе, что «он (Байрон) был гигантом как поэт и карликом как человек». Как мы уже заметили, нашим прекрасным знакомством с жизнью Байрона мы обязаны, главным образом, ему же самому. Он не умел ничего скрывать, и всякая новая мысль или новое чувство его почти немедленно делались общим достоянием. На большую часть его произведений можно смотреть как на поэтические дневники его мыслей и чувств; а многочисленные письма и собственно дневники поэта представляют богатейший материал для его биографов и содержат нередко подробности даже совершенно излишние. К сожалению, невозможно относиться с безусловным доверием ко всему тому, что Байрон сам о себе писал или говорил, так как он, кроме излишней откровенности, обладал еще и тем качеством, которое в значительной степени ослабляет действие откровенности. Он чрезвычайно любил мистифицировать других, т. е. рассказывать про себя такие истории, которые никогда с ним не случались, и обвинять себя в таких грехах и преступлениях, которых он никогда не совершал. Люди, не знавшие этой его слабости, обычно верили всему, что он писал или говорил о себе. Отсюда происходило то, что при жизни поэта о нем постоянно распространялись самые чудовищные слухи, а после его смерти о нем долгое время писали самые нелепые басни. Всем этим слухам и басням публика тем охотнее верила, что Байрон не только никогда не считал нужным опровергать их, но даже сам отчасти способствовал их распространению. Некоторые биографы его утверждают даже, будто он имел обыкновение посылать иногда во французские газеты анонимные письма, в которых сам рассказывал о себе самые отчаянные истории. Гёте долгое время верил, на основании некоторых намеков в сочинениях Байрона, что тот совершил какое-то таинственное убийство в Италии.

Но несмотря на то, что жизнь Байрона была из-за его излишней откровенности почти всегда на виду у всех, характер его оставался, однако, загадкой, которую современники тщетно

пытались разгадать.

Загадочность натуры Байрона объяснялась необыкновенной сложностью, разнообразием и удивительной переменчивостью ее. «Он не оставался одним и тем же в продолжение двух дней», – отзывается о нем графиня Блессингтон. «Я представляю такую странную смесь хорошего и дурного, – признавался он сам, – что меня было бы очень трудно описать. Одни могут меня изобразить возвышенным мизантропом, способным на дружеское чувство только в редкие моменты. Это моя любимая роль. Другие могут представить меня современным Дон-Жуаном. Найдутся, наконец, и такие, которые из одного только желания противоречить другим представят меня симпатичным, но непонятным человеком. Если я сам себя понимаю, то могу сказать, что, в сущности, у меня вовсе нет никакого характера». – «У меня, – говорит он о себе в другом месте, – только один шаг от возвышенного к смешному».

А вот как характеризует поэта знаменитый историк Маколей. «В общественном положении лорда Байрона, в его уме, характере, в самой внешности его была странная смесь противоположных крайностей. Судьба наградила его всем, чего люди жаждут и чему удивляются. Но ко всякому крупному преимуществу его была примешана и некоторая доля жалкого и унизительного. Он происходил из фамилии действительно древней и знатной, но она была унижена и разорена целым рядом преступлений и безумств ее членов. Тот, кому он наследовал, умер в бедности и едва избегнул эшафота. Молодой лорд обладал крупными способностями, но ум его был в то же время и до некоторой степени ненормален. Он по природе был щедр и добр, но темперамент его был раздражительный и капризный. Он обладал головой, которую скульпторы любили копировать, и в то же время имел ногу, над которой смеялись уличные нищие. Отличаясь одновременно силой и слабостью ума, любящий и в то же время злой, бедный лорд и красивый урод, он больше всякого другого нуждался в тщательном и разумном воспитании. Но капризная судьба наградила его и капризной воспитательницей в лице его матери, которая не знала середины между диким бешенством и самой трогательной нежностью. Она то душила его своими ласками, то оскорбляла, напоминая ему о его уродливости. Когда он вырос, свет стал обращаться с ним точно так же, как раньше обращалась с ним мать: иногда любовно, иногда жестоко, никогда – справедливо… Он был действительно испорченное дитя; его испортила не только мать, но и природа, и судьба, и слава, и, наконец, само общество…»

Но среди разнообразных и друг другу противоречивших черт

характера Байрона ярко выделялись две, самые крупные и постоянные. Это были: его крайний индивидуализм и необыкновенное тщеславие. Его «я» было для него центром, вокруг которого всегда вращались все его мысли и чувства. Внешний мир для него существовал только как источник приятных или неприятных впечатлений; он не чувствовал себя частью его; он стоял как бы вдали от него, вне его или над ним, во всяком случае *рядом с* ним, но не в нем. Таким же образом он чувствовал себя и в отношениях с обществом. Чувство и сознание своего «я» никогда ни на одну минуту не оставляло его и всегда господствовало над всеми другими его мыслями и чувствами. Когда он творил, то только воплощал во внешней форме свой же собственный образ. Его гений не был способен на объективное творчество, потому что никогда не мог настолько освободиться от осознания своего собственного «я», чтобы быть в состоянии заглянуть в душу другого. Индивидуализм его рос с возрастом и под конец достиг высшей ступени своего развития в то время, когда он создавал «Манфреда». Во всей всемирной литературе вряд ли найдется другой подобный тип крайнего индивидуалиста, как Манфред, а между тем в нем, как и в Чайльд-Гарольде и Дон-Жуане, Байрон изобразил только самого себя. После Наполеона I Байрона можно смело считать величайшим индивидуалистом XIX века.

Но рядом с чудовищным индивидуализмом в душе Байрона уживалось самое мелкое и жалкое тщеславие. Индивидуализм, даже крайний, не может не возбуждать в нас хотя бы некоторого удивления тогда, когда мы находим его у великих людей, так как в них он всегда почти является выражением необыкновенной силы и могущества личности. Но тщеславие кажется обычно тем более жалким и смешным, чем крупнее та личность, которая его обнаруживает. Гейне справедливо заметил, что «человек – самое тщеславное животное, и поэт – самый тщеславный человек». Из всемирно знаменитых поэтов этот афоризм наиболее приложим к Байрону и еще к самому Гейне. Главную пищу тщеславию Байрона доставляла его необыкновенная красота, которой удивлялись не только женщины, но даже мужчины. При виде его ни одна дама не могла удержаться от восклицания: «Oh mon Dieu, qu'il est beau!» («Боже, как он прекрасен!»). «Такое красивое лицо, – говорит в своих воспоминаниях о Байроне известный английский писатель Кольридж, – я вряд ли когда-либо видел. Каждый зуб его – это воплощенная улыбка; его глаза – это открытые врата солнца, они созданы из света и для света; лоб его велик и в то же время так подвижен, что мраморная гладь его в одну минуту заменяется сотнями морщин и линий,

соответствующих тем мыслям и чувствам, которые он отражает…»

Необыкновенная выразительность лица Байрона поражала всех знавших его. Лицо его отражало малейшие движения души и меняло свои выражения с такой же быстротой, с какой одно душевное движение заменялось другим. Вальтер Скотт находил лицо Байрона «прекрасным, как мечта»; «портреты его, – говорит он, – не дают никакого представления о его красоте». А вот как описывает наружность великого поэта немецкий биограф его, профессор Эльзе: «Рост Байрона не превышал двух аршин 7 вершков. Он был прекрасно сложен и имел тонкую и стройную фигуру. Маленькая и совершенно круглая голова его сидела на длинной, но сильной шее и широких плечах. В его наружности было, без сомнения, нечто женственное. Голова его напоминала безбородого Аполлона: лицо было почти лишено волос, и он лишь в Италии стал носить тонкие усики. Его короткие локоны, большие глаза, длинные ресницы, прозрачно-бледные щеки и полные губы – всё это скорее женские, чем мужские, черты. Недаром султан, увидав его в свите английского посла, принял его за переодетую женщину… Голос его был „d'une beauté phénomenale“ („феноменальной прелести“), по выражению обожавшей его графини Гвиччиоли, и маленький сын лорда Голленда, не знавший его имени, обыкновенно обозначал его как „господина с прекрасным голосом“…»

Байрон очень рано стал замечать, какое действие его наружность производила на женщин. Поэт очень заботился о сохранении своей красоты и подвергал себя разрушительной диете, главным образом, для этой именно цели. Он был сам влюблен в свою наружность, в особенности в свои локоны, которые ему завивали каждую ночь, как женщине. Но зато его платье, экипажи и ливреи слуг обнаруживали удивительное отсутствие вкуса, точно так же, как его страсть к мундирам и ярким цветам. До какой степени он был занят своей наружностью и интересовался мнением о себе женщин, показывает следующий курьезный случай, сообщенный о нем его школьным товарищем, лордом Сляйгом. Стоя однажды во время своего пребывания в Афинах перед зеркалом и любуясь прекрасным, бледным лицом своим, Байрон вдруг серьезно заметил своему приятелю, что ему очень хотелось бы умереть от чахотки, так как женщины в таком случае нашли бы его очень красивым и интересным! А между тем он сам был о женщинах очень невысокого мнения, несмотря на прекрасные женские типы, которые мы встречаем в его произведениях. «Я смотрю на них, – говорит он в одном из своих дневников, – как на очень милые, но низшие существа, которые так же не на своем месте за нашим столом, как если бы они

присутствовали на наших совещаниях. Весь современный строй по отношению к женскому полу представляет остаток варварского рыцарства наших прадедов. Я смотрю на них как на взрослых детей; но, подобно глупой матери, я всегда раб одной из них. Турки запирают своих женщин, и они от этого счастливее; дайте женщине зеркало и каленого миндалю, и она будет вполне довольна».

Так смотрел на женщин тот, который не мог жить без них, который делал все, чтобы нравиться им, и который как наружностью своей, так и характером сильно напоминал женщину! Одним из многих проявлений крайнего тщеславия Байрона было и то, что ему никогда не нравились портреты и бюсты, которые с него снимали. Чем удачнее выходил портрет или бюст его, тем менее он ему нравился. Он любил видеть себя изображенным не таким, каким был в действительности, а таким, каким мечтал быть или, вернее, таким, за какого ему хотелось быть принятым. Он, страшно не любивший своих соотечественников за их манерность и претенциозность, сам очень редко бывал естественным, и большею частью держал себя так, как будто был на сцене и разыгрывал какую-нибудь роль. Гордый Байрон, знавший хорошо людей и на основании этого знания глубоко презиравший их и жестоко осмеявший в своем «Дон-Жуане», – этот самый Байрон как женщина интересовался мнением людей и как зеленый юноша жаждал аплодисментов толпы. Знаменитый датский скульптор Торвальдсен, делавший бюст его в то время, когда он был в Риме, рассказывает о первом сеансе следующее: «Байрон уселся против меня и сразу стал придавать своему лицу выражение, которого оно обыкновенно не имело». «Сидите, пожалуйста, спокойно, – заметил я ему, – вам незачем смотреть так, как вы смотрите». – «Это мое обычное выражение», – отвечал Байрон. – «В самом деле?» – сказал я и после этого уже не обращал внимания на его позу и представлял его таким, каким он был на самом деле. Когда бюст был готов, он заметил: «Это не совсем похоже на меня, выражение моего лица более несчастное…» Этот самый бюст поэта был потом найден его сестрой и всеми его друзьями необыкновенно удачным и верным…

Байрон славился как замечательный пловец и как прекрасный стрелок. Он очень редко делал промахи, стреляя в цель, но, когда это с ним случалось, он бывал огорчен до слез и страшно сердился, если товарищу его в это же время удалось избежать промаха… Просвещенный и передовой Байрон, смеявшийся над высокими титулами и возмущавшийся дворянскими привилегиями, сам чрезвычайно гордился своим знатным

происхождением и никогда не упускал случая упомянуть о том, что предки его прибыли в Англию еще с Вильгельмом Завоевателем. Мало того. Он не только никогда не забывал, что он лорд и происходит по прямой линии от норманнских баронов, но держал себя еще и как лорд-выскочка, как такой, который только благодаря счастливой случайности попал в лорды, что, впрочем, в значительной степени и соответствовало действительности…

После индивидуализма и тщеславия самыми выдающимися чертами характера Байрона были его необыкновенная впечатлительность и страстность, которые он тоже унаследовал от своей матери. До чего доходила его впечатлительность, видно из того, что с ним не раз случались истерические припадки в театре в то время, когда он смотрел на игру хорошего артиста в трагической роли. Темперамент его был чисто южный – горячий и страстный; оттого-то он и чувствовал себя так хорошо в Италии и Греции. Хотя он обнаруживал замечательное самообладание и мужество в присутствии опасности, однако в обычных случаях не был в состоянии сдерживать себя, не умел управлять собой и действовал всегда под влиянием первого импульса. Подобно своей матери, поэт был способен и на самую свирепую ярость, и на самую трогательную нежность. Вследствие крайней впечатлительности настроение духа у него менялось часто и неожиданно, а так как он действовал всегда под влиянием импульса, то отсюда происходило, что он так же скоро менял свои решения, как и принимал их, и что он вообще очень часто противоречил себе как на словах, так и на деле. Эта крайняя импульсивность, соединенная с болезненной впечатлительностью, делала его отношения с людьми крайне неровными и не раз бывала причиной того, что он оскорблял людей, к которым чувствовал уважение, и поступал жестоко с теми, кого всегда любил. Та же неровность замечалась и в его беседах. Известный французский писатель Стендаль (Бейль), имевший возможность провести в обществе поэта много вечеров в то время, когда тот жил в Италии, следующим образом характеризует его как собеседника. «Всякий раз, как Байрон бывал возбужден и говорил с воодушевлением, чувства, которые он обнаруживал, бывали благородны и возвышенны. Тогда беседы наши бывали самые прекрасные, в каких я когда-либо принимал участие. Они вызывали во мне массу новых идей и необыкновенно высокие чувства. Но великий человек проявлялся в нем каждый вечер только на полчаса; все остальное время он был англичанином и лордом…» При своей необыкновенной впечатлительности Байрон обладал еще и до болезненности

развитым воображением. Он способен был благодаря этому жить не только настоящим, но и давно прошедшим, так как воображение его воскрешало то, что уже давно умерло, а крайняя впечатлительность давала ему возможность переживать прошлое так же полно, как если бы оно было настоящим. Много лет спустя после третьей любви своей он еще был способен плакать над первой, до такой степени живо он представлял ее себе. Но это же болезненное воображение его способно было превращать не только прошлое в настоящее и мертвое в живое, но и фантазию в действительность. Многие страдания его были только продуктами его воображения, но он чувствовал их столь же живо, как если бы они происходили в действительности. С таким характером невозможно быть счастливым, даже если внешние условия этому вполне благоприятствуют. Но Байрон своей импульсивностью и неспособностью управлять собой сумел и внешний мир вооружить против себя, и создать среду столь же малоблагоприятную для спокойствия и счастья, как и та дисгармония, которая царила внутри него. Чудовищный индивидуализм держал его внимание всегда прикованным к его собственному «я»; до болезненности развитое воображение сосредоточивало всю свою силу главным образом на том же «объекте»; прибавьте к этому крайнюю впечатлительность, усиливавшую действие его воображения, и тогда станет понятным, почему он ни когда не чувствовал себя ни счастливым, ни удовлетворенным и почему самое бурное веселье часто совершенно неожиданно сменялось в нем тяжелой грустью.

А между тем Байрон в своем характере имел все задатки для того, чтобы быть не только счастливым, но и столь же великим в жизни, каким он был в поэзии. Необходимо было только, чтобы эти хорошие задатки развивались и стали в нем господствующими чертами. Но воспитание, полученное им, и вообще все те условия, среди которых он жил с самого рождения, были таковы, что только одни темные стороны его характера могли расти и развиваться, а светлые должны были почти заглохнуть в самом зародыше. Моментами Байрон бывал божественно прекрасен не только лицом, но и душой. Но это были только моменты. Он обыкновенно так же быстро и неожиданно опускался, как и подымался.

Но в Байроне было, однако, и нечто такое, что отчасти покрывало и смягчало все его недостатки, что в значительной степени примиряло всех с его слабостями и даже внушало тем, которые близко узнавали его, любовь и сильную привязанность к нему. Это было его необыкновенно доброе, женственно-нежное и любящее сердце. «В молодости, – говорит профессор Эльзе, –

Байрон был очень привязчив, чувствовал сильную потребность в дружбе и отвечал благодарностью на всякое проявление любви к нему. В своих отношениях со слугами он всегда являлся добрым господином, и они все без исключения любили и уважали его. Доброта поэта была даже близка к женской мягкости, и он часто прибегал к иронии и сарказмам только для того, чтобы скрыть свою мягкость, которая могла вызвать насмешки со стороны других и даже причинять ему вред». Во время своего первого путешествия по Греции он однажды нечаянно пристрелил молодого орленка. Страдания раненой птицы глубоко огорчили его, и он старался всеми средствами поддержать в ней жизнь; когда же она через несколько дней умерла, он дал себе слово никогда больше не стрелять в животных, и в течение всей своей жизни остался верным этому решению. «Тот, кто так относился к животным, – говорит только что цитированный нами биограф Байрона, – не мог, при всем своем индивидуализме и при всей своей мизантропии, обращаться с людьми, своими ближними, холодно и жестоко». Он глубоко сочувствовал всякому страданию и всегда готов был помочь в нужде не только своим друзьям, но и людям совершенно посторонним, и даже таким, которые своим поведением заслуживали его презрение. «Несчастье было в его глазах свято,» – говорит о нем леди Блессингтон, – и, казалось, составляло послед нее звено той цепи, которая связывала его с ближними. Он нередко помогал даже врагам своим, когда с ними случалось несчастье. И услуги свои Байрон всегда оказывал с замечательным тактом, очень часто скрывая свое имя от тех, которым он помогал, для того, чтобы не тревожить их самолюбия. Во время своего пребывания в Италии поэт тратил ежегодно на филантропические дела до 10 тысяч рублей, т. е. четвертую часть своего дохода.

Когда беднейшая часть населения Равенны узнала о его намерении оставить их город, она подала петицию губернатору, чтобы тот уговорил Байрона остаться. Во всех местах, где он оставался более или менее продолжительное время, население очень скоро начинало смотреть на него как на своего благодетеля.

По своему миросозерцанию Байрон был, скорее всего, скептиком. Поэт в своих произведениях ставил великие вопросы, но никогда сам не пытался разрешать их. Он отрицал господствовавшие в то время взгляды, но его собственные не были ни достаточно определенны, ни достаточно прочны. Ум его был не синтетический, а скорее аналитический. Байрон чувствовал себя как дома толь ко в области чистой критики. Но при всем своем скептицизме, он, однако, был, подобно своей

матери, склонен к предрассудкам: верил в предсказания и предчувствия и боялся предпринимать что-нибудь по пятницам.

Автор «Чайльд-Гарольда» страстно любил природу, но в ней его поражало преимущественно все дикое, бесформенное и грандиозное. Он обожал море и горы, и, вероятно, обожал бы также и безграничную пустыню, если бы ему удалось ее увидать.

Как это ни странно, но эстетическое чувство Байрона было довольно ограниченным. Он не понимал ни архитектуры, ни живописи, ни скульптуры, а в области музыки его интересовало только то, что в ней наименее искусственно, т. е. народные песни.

Глава IX. Место Байрона в литературе

Байрон-поэт был бесконечно выше Байрона-человека, но характер первого определялся, однако, в очень значительной степени характером второго. Крайний субъективизм поэта соответствовал крайнему индивидуализму человека. Будучи одним из величайших индивидуалистов XIX века, Байрон был в то же время и величайшим лириком его. «Никогда, – говорит известный историк английской литературы Ипполит Тэн, – даже в моменты самого свободного полета своей мысли, Байрон не был в состоянии освободиться от самого себя. Он мечтает только о себе и видит всегда только себя… Никакой другой столь же великий поэт не имел такого узкого воображения. Он не был в состоянии перенестись в душу другого. В свои произведения поэт вводит почти без всякого изменения свои же собственные печали, свою собственную борьбу и свои собственные путешествия. Он не изобретает, а только наблюдает; не создает, а только копирует. „Я не могу, – сознает он сам, – писать о том, чего сам не испытал…“ Оттого-то он и создал всего только один характер. Чайльд-Гарольд, Лара, Корсар, Манфред, Сарданапал, Каин, Тассо, Данте и все прочие характеры его – это, в сущности, один и тот же человек, представленный в различных костюмах, в разных странах и в различных состояниях. Он поступал подобно тем художникам, которые путем перемены костюмов, декораций и поз „рисуют“ 50 портретов с одной и той же модели. Он слишком много размышлял о самом себе, чтобы мог увлечься чем-нибудь другим…» «Байрон сам, – говорит лорд Маколей, – был началом, серединой и концом всей своей поэзии, героем всякого своего рассказа и самым выдающимся предметом всякого пейзажа. Гарольд, Лара, Манфред и множество других характеров были всеми признаны только за слабое инкогнито Байрона, и есть все основания полагать, что он сам хотел, чтобы их такими считали. Чудеса внешнего мира, Таго с могущественным флотом Англии на лоне его вод, башни Цинтры с косматыми лесами ив и пробковых деревьев под ними, блестящий мрамор Пентеликона, берега Рейна, ледники Кларана… чудное Женевское озеро, бесформенные руины Рима… звезды, море, горы – все это были только аксессуары, задний фон для одной мрачной и меланхолической фигуры… Женщины Байрона, подобно его мужчинам, принадлежат все к одному типу. Гайди – это только полудикая Юлия, а Юлия – цивилизованная Гайди. Лейла – это

замужняя Зюлейка, а Зюлейка – девственная Лейла… Вряд ли будет преувеличением сказать, что Байрон мог представлять только одного мужчину и только одну женщину; мужчину – гордого, угрюмого, циничного, с презрением на челе и горем в сердце, неумолимого в мести, однако способного любить глубоко и сильно; женщину – полную доброты и нежности, любящую ласкать и быть ласкаемой, но способную под влиянием страсти превратиться в тигрицу…» Но как лирик Байрон был, несомненно, велик. По мнению профессора Эльзе, он занимает в английской литературе такое же высокое место в лирике, как Шекспир в драме и Вальтер Скотт в эпосе.

После крайнего субъективизма другой выдающейся чертой произведений Байрона является их необыкновенная отрывочность, отсутствие в них органической цельности и законченности и чрезвычайная слабость их фабул. Эта черта в поэзии Байрона соответствует подобной же черте в его характере. Отсутствие цельности в поэте соответствует раздвоенности в человеке. «Трудно вообразить, – говорит Маколей, – что-нибудь более грубое и небрежное, чем конструкция поэм Байрона. Он, очевидно, придавал фабуле только второстепенное значение. Самые крупные произведения его – „Чайльд-Гарольд“ и „Дон-Жуан“ совсем не имеют никакого плана. Каждое из них могло быть продолжено до какой угодно длины или прекращено на каком угодно пункте. То состояние, в каком появился „Гяур“, показывает, каким образом были построены все вообще поэмы Байрона. Они все, подобно „Гяуру“, представляют только собрания отрывков».

Крайний субъективизм и неспособность к цельному творчеству обрекали Байрона на довольно скромное место в области драмы. Единственная область, в которой он чувствовал себя как дома, были описания. Зато в этой области он неподражаем. Он сам признает в «Дон-Жуане», что «его сила лежит в описании». Он так же бесподобен и в своих лирических излияниях и размышлениях. «Память о Байроне, – говорит профессор Эльзе, – проживет дольше всего благодаря тем лирическим перлам, которые рассеяны по всем его произведениям и которые всякий читатель его знает и никогда не в силах забыть. В них так много возвышенного, такое обилие глубочайшей красоты и самой увлекательной прелести, что мы себе представить не можем такого времени, когда они перестанут приводить в восторг читателей».

Крайняя импульсивность и страстность натуры Байрона также сильно отразились на его творчестве. Байрон-человек действовал под влиянием минуты; под таким же влиянием творил

Байрон-поэт. «Я писал, – говорит он сам, – от полноты души, страстно, импульсивно, но не ради „их сладких голосов“. Желание уйти от самого себя было всегда единственным и искренним мотивом всех моих мараний». «Все судороги, – говорит он в другом месте, – кончаются у меня рифмами». Вдохновение нисходило на него, как гроза, и эта гроза разражалась целым потоком рифм. Он писал с поразительной быстротой: «Корсар» был написан им в 10 ночей, а «Абидосская невеста» в 4 ночи. Написанного, за очень немногими исключениями, Байрон никогда не переделывал. «Я вам раньше сказал, – читаем мы в одном письме его, – что я никогда ничего не переделываю. Я подобен тигру: если первый прыжок мне не удается, я ворча возвращаюсь обратно в кустарник; зато, когда он удачен, он сразу уничтожает».

Произведения Байрона, будучи, таким образом, в значительной степени импровизациями, могли быть создаваемы им только на месте или, по крайней мере, под очень еще свежим впечатлением. И действительно, первые две песни «Чайльд-Гарольда» были написаны им во время его первого путешествия, 3-я – была начата в Бельгии и окончена по приезде в Швейцарию; «Шильонский узник» написан на обратном пути из Шильона; «Манфред» начат немедленно по возвращении из путешествия по Альпам; «Жалоба Тассо» родилась чуть ли не в той самой тюрьме, где когда-то сидел Тассо, и т. д. Благодаря тому, что все произведения Байрона были написаны им или на месте или под свежим впечатлением от увиденного, все описания в них и отличаются таким замечательным реализмом. «Общая правдивость его описаний, – говорит Никольс, – признана всеми посетившими те же самые страны. Его картины Греции, ночная сцена в заливе Арта, многие из очерков Албании, очень многое в „Осаде Коринфа“ и весь „Гяур“ – поражают каждого своим ярким реализмом». Но по той же причине, по которой стиль его полон огня, а описания изобилуют великолепными образами и отличаются замечательным реализмом, по этой же причине и стих его страдает крайней неровностью. «Вряд ли найдется у него хоть одна страница, – говорит только что цитированный критик, – которая была бы вся безукоризненна; вряд ли даже одна строфа его выдержит детальный анализ. Его картины, созданные широкой кистью, никогда не предназначались для микроскопа. Ни один поэт, умевший так хорошо писать, как Байрон, не умел в то же время и так дурно писать». Байрон не принадлежал ни к какой литературной школе и в своих произведениях не подражал никому. Он был оригинален в высшей степени не только формой, но и содержанием, вернее, духом своих произведений. «Байрон, –

говорит профессор Эльзе, – первый ввел в современную литературу *мировую скорбь,* причем достойно замечания то, что у англичан даже нет выражения для этого основного тона его поэзии… Мировая скорбь состоит прежде всего в вечной жалобе рода человеческого на бренность всего земного, на неопределенность своего назначения и на полную неизвестности судьбу, ожидающую нас за гробом… Эта всеобщая жалоба человечества принимает, однако, у Байрона субъективную и болезненную окраску». Вместо того чтобы утопить свою скорбь в общей скорби всего человечества или присоединить свой стон к общечеловеческому стону, он, наоборот, пользовался всеобщей скорбью только как предлогом для того, чтобы обнаружить свою индивидуальную скорбь, и стоном всего человечества – для того, чтобы сделать слышным свой собственный, индивидуальный стон. В этом отношении он как крайний индивидуалист был, впрочем, верен только самому себе. Но современникам Байрона не было дела до истинных мотивов его мировой скорби; им достаточно было, что он скорбел, что он в свою поэзию внес новый аккорд, гармонировавший с духом того времени; что он явился выразителем того душевного разлада, того разочарования и той в то же время жажды лучшего, которая характеризовала людей первой четверти XIX века. А он не только скорбел; он протестовал, громил, бичевал своей ядовитой сатирой всю гниль современного ему общественного строя. Мало того. Он в своей поэзии явился выразителем не только современного отрицания, но и современных стремлений. Он пел освобождение порабощенных наций; он воспевал независимость личности. Эффект его поэзии был тем более могуществен, что он не только пел, но и сам боролся за то, что воспевал. Байрон умер в борьбе за освобождение Греции; его личное счастье было разбито в борьбе с английским обществом. Он не имел определенных политических и религиозных взглядов и ограничивался одним отрицанием, но в этом именно и заключалась его сила, отсюда – громадное значение его поэзии для духовного и политического развития его современников. Мировая скорбь и скептицизм Байрона выразились с наибольшей силой в его «Каине», о котором Гёте сказал, что другое подобное произведение свет навряд ли когда-нибудь увидит. Восторженным певцом свободы он является в «Чайльд-Гарольде», а беспощадным критиком современного ему общественного строя – в неподражаемом «Дон-Жуане». Бессмертная трагедия его «Манфреда» представляет величайший памятник индивидуализма в поэзии; это настоящий апофеоз личности. «В какую жалкую посредственность, – говорит Тэн, – превращается гётевский Фауст, когда его начинаешь

сравнивать с Манфредом. Как только мы перестаем видеть в Фаусте человечество, чем он оказывается? Разве он герой? Во всяком случае, жалкий герой тот, кто только умеет говорить, кто подвержен страху, кто блуждает и занимается изучением своих собственных ощущений. Самое худшее, на что он способен, – это обольстить гризетку и отправиться ночью в плохое общество танцевать. Но ведь на такие подвиги способны и очень многие немецкие студенты. Его упрямство – это каприз; его идеи – это мечты. У него душа поэта и голова ученого; он не способен действовать: внутри его – дисгармония, вне его – слабость; короче – в нем нет характера: он во всех отношениях немец. Рядом с ним какой человек Манфред! Это в полном смысле слова человек; никакое другое имя не идет ему так, как это. Он неспособен при виде духа начать трепетать подобно пресмыкающемуся, жалкому, трусливому червяку. Он не будет жалеть, что у него нет ни поместья, ни денег, ни светских почестей, ни влияния. Он не поддастся на удочку дьявола, как школьник, и не отправится забавляться подобно ротозею фантасмагорией Брокена. Он жил, как феодальный властитель, а не как ученый; он воевал и управлял другими; он и собой умеет управлять. Если Манфред изучал магию, то не из любопытства алхимика, а побуждаемый духом возмущения… Воля – это непоколебимое основание души его. Он не склонился перед предводителем духов; он стоял твердо и спокойно перед адским троном, в то время как все демоны неистовствовали кругом него и хотели разорвать его на куски… Это „я“, непобедимое, самодовлеющее, неспособное подчиниться ни демонам, ни людям, составляющее единственный источник своего собственного добра и зла, – это страдающий или павший Бог, но все-таки Бог. Таков герой, таков продукт этого ума… Если Гёте был поэт *вселенной,* то Байрон был поэт *индивидуума;* и если в одном нашел своего выразителя немецкий дух, то английский дух нашел своего выразителя в другом».

Байрон был гражданином мира и как поэт, и как человек. «Его поэтическая мысль и мечта, – говорит профессор Эльзе, – вращалась не около красот его родной страны и не около великих событий ее истории. Ум его занимали не туманные высоты или озера Шотландии и зеленые поля Англии, не гражданские войны Роз и похождения английских мореходов, а греческий архипелаг, вечно ясное и лазурное Женевское озеро и политические аномалии Венеции. Между английскими поэтами он – космополит, который перешагнул через границы своего отечества и в котором поэтому Гёте приветствовал провозвестника мировой литературы».

Благодаря своему космополитическому характеру поэзия

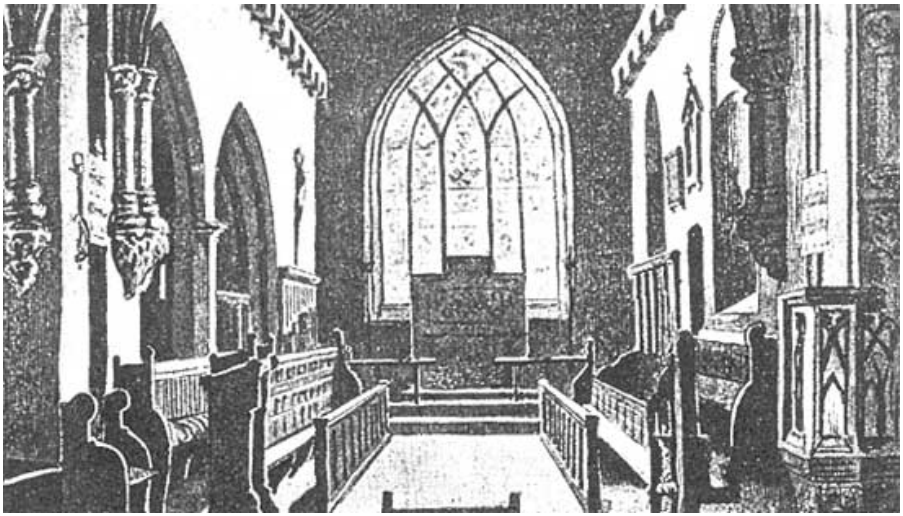
Байрона оказала гораздо большее влияние на литературы континента, чем на английскую литературу. Слабее всего ее влияние было в южных странах. Однако в Испании представителем байронизма был такой выдающийся поэт, как Джозе Эспронседа, а в Италии – не менее замечательный Джованни Бергист. Из всех романских стран влияние Байрона было глубже и шире всего во Франции, где он стал популярнее всех английских поэтов. Там в большей или меньшей степени последователями его были такие поэты, как Виктор Гюго, Ламартин, Альфред де Мюссе и Делавинь. В Германии Байрон, подобно почти всем английским поэтам, нашел себе второе отечество. Хотя влияние его на немецкую литературу и ограничилось только одним периодом, а не упрочилось навсегда, как влияние Шекспира, однако то, чего недоставало ему во времени, было более чем уравновешено обширностью его и глубиной. Гёте несколько раз высказывался об этом. «Поэзия лорда Байрона, – писал он в 1817 году, – становилась у нас все более и более популярной, по мере того как начинали ближе узнавать особенности этого необыкновенного гения: так что одно время казалось, что мужчины и женщины, девушки и юноши почти забыли свое происхождение и свою национальность. Благодаря тому, что его произведения было легко доставать и приобретать, у меня самого вошло в привычку изучать их. Он был для меня дорогим современником, и я в мыслях своих охотно следил за ошибочными уклонениями его жизни». Гёте и по своему сочувствию и удивлению перед Байроном был представителем своего отечества. Однажды он заметил, канцлеру Мюллеру следующее: «Только одного Байрона я допускаю рядом с собой! Вальтер Скотт ничто в сравнении с ним…» Самым крупным представителем байронизма в германской литературе был Генрих Гейне, которого в очень многих отношениях можно рассматривать как немецкого Байрона. Влияние Байрона было также очень велико и на русскую литературу. Представителями байронизма у нас были отчасти Пушкин и в очень значительной степени Лермонтов, кроме многих второстепенных писателей. Никакой другой английский поэт не пользовался у нас такой огромной популярностью, как Байрон, что объясняется до некоторой степени общественными условиями России того времени.

Наименьшее влияние поэзия Байрона оказала на английскую литературу. В то время как на континенте его называли «великим Наполеоном царства поэзии», на родине его произведения считались нечестивыми, и критики боялись хвалить их. Но тем не менее успех его в Англии был колоссальным, его боялись и,

однако, жадно читали, ругали вслух и в то же время удивлялись ему в душе. Особенно велика была его популярность среди молодежи. Маколей рассказывает, что английские молодые люди того времени почти все имели у себя портреты Байрона и тщательно берегли всё, что имело малейшее отношение к нему. Они заучивали его поэмы наизусть и старались писать, как он, и даже смотреть, как он. Они подражали ему не только в выражении лица, но даже в костюме. Всякий юноша старался смотреть Чайльд-Гарольдом или Ларой. Но в то время как дети открыто обожали своего великого соотечественника, отцы их смотрели на него чуть ли не как на антихриста и окрестили литературную школу, которую он основал, «сатанинской». Когда останки «самого знаменитого англичанина XIX века» (по выражению Маколея) прибыли в Лондон, их не пустили в Вестминстерское аббатство, – этот британский Пантеон, где среди истинно великих сынов отечества лежит так много посредственностей, где похоронены многие, которые гораздо меньше Байрона верили и гораздо постыднее его жили, но которые, однако, умели и то, и другое гораздо лучше скрывать, чем он. Несколько лет спустя после смерти поэта друзья его пытались поместить хотя бы бюст его в Вестминстерском аббатстве, но им даже и в этом отказали. Этот бюст, изваянный знаменитым скульптором Торвальдсеном, не был допущен и в собор св. Павла и пролежал около 10 лет в подвалах лондонской таможни, пока, наконец, Кембриджский университет не согласился поместить его в своей библиотеке. Там он стоит до сих пор и составляет такое же украшение этого старинного университета, как и бюсты двух других учившихся в нем великих британцев – Ньютона и Маколея. Прошло уже почти 70 лет с тех пор, как умер Байрон. За это время Англия успела значительно измениться, и это, конечно, отозвалось на отношении ее к своему великому поэту. Теперь уже там никто не сомневается, что Байрон – самый гениальный англичанин XIX века. В самом оживленном месте Гайд-парка можно теперь видеть статую Байрона, который изображен сидящим, задумчиво склонившим прекрасную голову над книгой. У ног великого британца лежит любимый пес его Ботсвейн. Напротив памятника Байрону стоит несравненно более великолепный памятник тому, кого поэт так жестоко осмеял в своем «Дон-Жуане». Напротив памятника тщеславному гению стоит памятник тщеславию его соотечественников и великому ничтожеству – Веллингтону. Памятник Байрону стоит в самом престижном месте самого престижного парка в Лондоне. Мимо него ежедневно проезжают в своих великолепных экипажах представители того самого

общества, от которого великий поэт так много страдал, которое он так прекрасно знал и так глубоко презирал.

Церковь в Хакнол-Торкаде, близ Ноттингема, где был похоронен Байрон.



Внутренний вид церкви в Хакнол-Торкаде, где под полом был захоронен прах Байрона

Источники

1. *Lord Byron.* Complete Poetical Works. London, 1890.
2. *Thomas Moore.* Lord Byron's Life and Letters. London, 1875.
3. *John Nichol.* Byron. Oxford, 1878.
4. *J. Jeaffreson.* The Real Lord Byron. London, 1883.
5. *Leigh Hunt.* Lord Byron and his contemporaries. London, 1828.
6. *Karl Ehe.* Die Biographie von Lord Byron. Berlin, 1886.
7. *T. Macaulay.* Critical and Historical Essays. London, 1850.
8. *F. Mason.* Personal Traits, of British Authors. New-Jork, 1885.
9. Anecdotes of Lord Byron. London, 1825.
10. *Hippolyte Taine.* Histoire de la Litterature Anglaise. Tome 2.
11. *Carl Bleibtreu.* Geschichte der englischen Litteratur im XIX Jahrhundert. Leipzig, 1888.

notes

Примечания

1

Так звали английского регента, впоследствии короля Георга III.